

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



115 142  
154

ФРАНЦИЯ

АЛЬФОНС ДОДЭ

ПИСЬМА  
СМОЕЙ МЕЛЬНИЦЫ

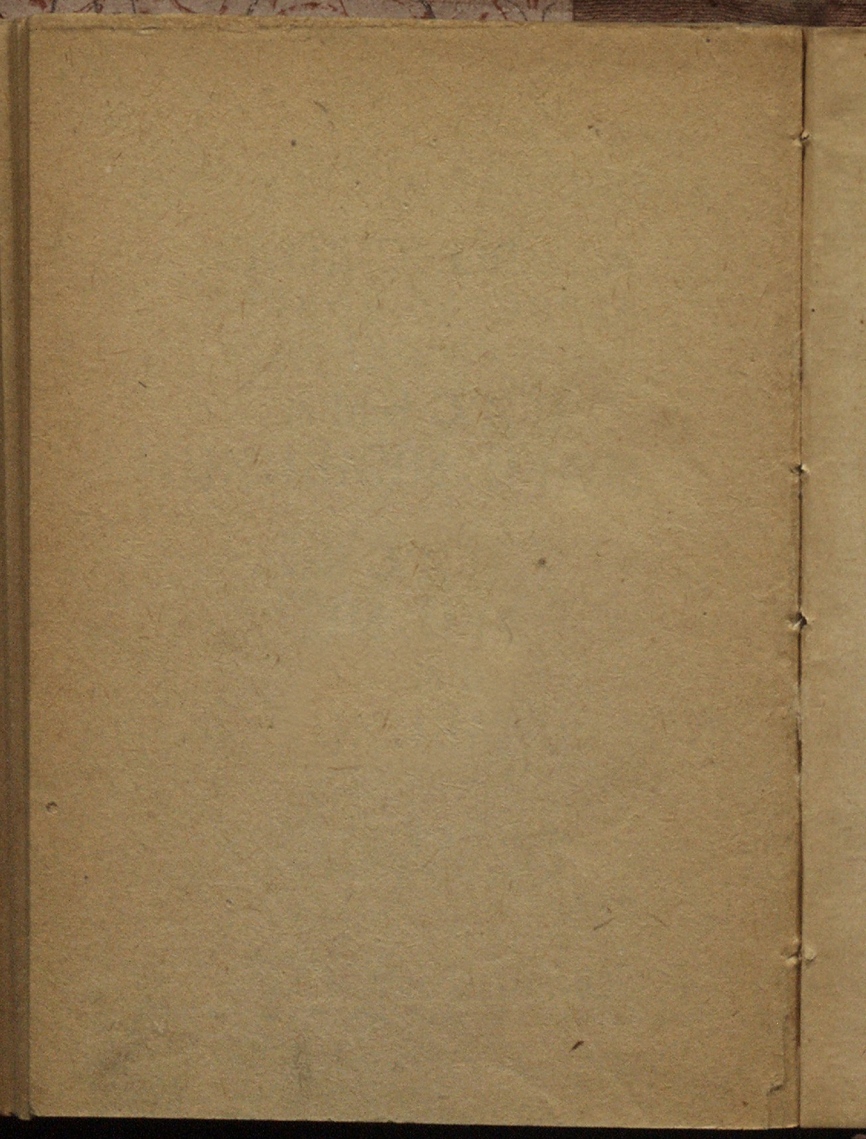
ВЫПУСК  
№ 29



ПЕТЕРБУРГ  
МСМХІХ







Вып. № 29.

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

АЛЬФОНС ДОДЭ  
ALPHONSE DAUDET

— 1840 — 1897 —

ПИСЬМА  
С МОЕЙ МЕЛЬНИЦЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
И С ПРЕДИСЛОВИЕМ  
А. ЧЕБОТАРЕВСКОЙ



П Е Т Е Р Б У Р Г  
— 1 9 1 9 —

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“  
при Народном Комиссариате по Просвещению

XX-4406





## ПРЕДИСЛОВИЕ.

---

Альфонс Додэ, известный французский писатель, родился в 1840 году и скончался в 1898. Он был уроженцем города Нима, в Провансе, богатой и плодородной области на юго-востоке Франции. Местность вокруг города Нима, чрезвычайно живописная, как и весь Прованс, изобилует шелковичными и маслиновыми плантациями, пшеницею, плодами и виноградом. В связи с этим на севере Прованса сильно развито шелководство и виноделие, и город Ним торгует вином, шелком и хлебом.

Родители Альфонса Додэ были люди очень бедные. Отец постоянно менял свое ремесло, сына готовили в учителя. Детство будущего писателя протекало среди большой нужды и лишений. Вспоминая впоследствии, в одном из своих произведений, детские годы, Додэ рассказывает, с какою жадностью он однажды уничтожал хлеб, приобретенный им на все свои наличные деньги, 17 су (на наши деньги—32 копейки). В те годы обладание шестью су (12 коп.) уже делало его счастливым: он покупал себе свечу и мог напролет всю ночь преда-

ваться чтению, до которого он был тогда большой охотник.

Альфоне Додэ рано сделался учителем, но не долго, всего два года, пробыл на этой службе. Уже 18 лет он приехал в Париж искать успеха и испытать свои способности на литературном поприще. Он начал с того, что напечатал небольшую книжку стихов под названием „Влюбленные“. Потом он стал писать рассказы и романы.

В это время он находился под влиянием натурализма, т. е. такого направления литературы, когда писатели, как, напр., Золя и братья Гонкуры, стремились к совершенно беспристрастному изображению жизни, не останавливаясь даже перед низкими и грубыми ее сторонами. Но крайности этого направления у Ал. Додэ явились значительно смягченными и облагороженными. Можно сказать, что у натуралистического направления Альфонс Додэ взял только лучшее: пристальное и вдумчивое изучение быта и социальной жизни, зоркий взгляд на людей и предметы и очень определенный, точный язык. Его остальные свойства—изящество, остроумие, мягкий юмор, эта веселая насмешливость, через которую проглядывает огромная любовь к людям, к природе, ко всему, что окружает человека,—все это составляет личные особенности этого писателя. По словам современного знаменитого



французского писателя Анатolia Франса, вот эти именно особенности у Альфонса Додэ „пленяют, чаруют, трогают и умиляют“. Никогда не становясь равнодушным к тем людям и событиям, которые он изображает, Додэ все-таки остается в своих книгах художником совершенно беспристрастным.

Лучшие из произведений Альфонса Додэ— романы: „Жак“ (история заброшенного ребенка, ставшего рабочим поневоле), „Набоб“ (картина нравов во Франции во времена второй империи: 1852-1870 гг.), „Короли в изгнании“ (живущие в Париже, свергнутые с престолов монархи), „Фромон младший и Рислер старший“, „Сафо“ и, наконец, забавная история южно-французского самохвала: „Приключения Тартарена из Тараскона“ в трех книгах, из которых первая имела шумный успех и принесла автору большие денежные средства.

Сделавшись богатым и счастливым (он женился на очаровательной женщине, талантливой писательнице), Альфонс Додэ попрежнему оставался простым, доступным, добрым человеком, великодушным товарищем и задушевым, интересным собеседником. Живя в Париже, с которым его связывали многие литературные, деловые и частные отношения, он не забывал своего родного Прованса. Он очень интересовался местным литературным движением так называемых „фелибров“, во главе которых стоял

знаменитый поэт Фредерик Мистраль. Фелибры ставили себе задачею образовать новый провансальский язык из местных народных наречий и на этом языке писать книги, которые были бы более понятны крестьянам в Провансе, чем книги, написанные на общем французском языке. Это течение, имевшее националистическую основу, однако, должно интересовать нас как довольно удачная попытка демократизации поэзии, так как в число членов общества фелибров было привлечено не мало талантливых самородков из крестьян, как, например, Боннэ; его книгу „Жизнь ребенка“ Альфонс Додэ перевел на французский язык \*). Но сам Додэ, хотя и провансалец по происхождению, при всей своей любви к родине, все же писал по-французски. Так и наш Гоголь, родом украинец, писал по-русски, а не на малороссийском языке.

На французском же языке написаны и предлагаемые здесь „Письма с моей мельницы“, — ряд очаровательных сказочек, рассказов и преданий о старине. Характерные особенности страны очень живо изображены в этих рассказах. Перед читателем проходит ряд живописных, пленительных описаний природы в соответствии с настроениями человека (рассказы „Водворение“, „Звезды“, „Апельсины“, „Супрефект“, и др.).

\*) Есть русский перевод, озаглавленный „Детство крестьянина“.

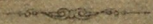


Много незлобного юмора и душевной теплоты в очерках „Старики“, „Коза г. Сегена“, „Поэт Мистраль“, „Мул папы“, „Три недослуженные обедни“, „Секрет хозяина Корнилия“, „Тоска по казарме“. Наконец, в третью группу войдут рассказы, глубокие по замыслу, с печальным и мрачным содержанием: „Арлезианка“, „Бокэровский дилижанс“, „Агония Семильянты“, „Таможенные досмотрщики“, „Смерть дофина“, „Легенда о человеке с золотым мозгом“, „Портфель Биссиу“, „Две гостиницы“; здесь говорится о тех несчастьях, которые постигают человека всегда и везде, иногда и не по вине его, а по ужасному сцеплению обстоятельств, а иногда вследствие господствующих над человеком стихий и страстей, — любви, ненависти, ревности. Но и эти мрачные рассказы не нарушают общего светлого впечатления от книги, — так много в ней доброты и понимания человеческой природы.

Можно посоветовать читать эту милую книгу в тяжелые дни, когда у читателя на душе очень смутно. Тогда читатель скоро почувствует, как его утешает эта книга, потому что в ней отразилась прекрасная душа писателя, ясная и любящая людей, радующаяся жизни, солнечному свету, ярким краскам южной природы, всему, что отвлекает человека от мрачных мыслей, делает его более бодрым и дает ему силу для перенесения трудов жизни. Прочитать та-

кую книжку — все равно, что поговорить по душе с добрым и умным человеком; после таких бесед всегда становится легче и светлее.

Анс. Чеботаревская.





## ОТ АВТОРА.

---

К Оноре Грапази, нотариусу в Памперигусте, явился г. Гаспар Митифио, супруг Виветты Корниль, имеющий собственность в Сигальере и там же жительствоующий.

Означенный Митифио, на основании пред'явленных им документов, продал со всеми ему принадлежащими правами, а также с переводом всех долгов и ипотек, господину Альфонсу Додэ, поэту, жительствоующему в Париже, лично при заключении сего акта присутствовавшему, ветряную мукомольную мельницу в долине Роны, в самом центре Прованса \*), на холме, поросшем зелеными соснами и дубами; каковая мельница более двадцати лет заброшена и для работы непригодна, что явствует из того, что дикий виноград, мох, розмарин и иные растения покрыли ее до самых крыльев.

Тем не менее, несмотря на то, что большое колесо сломано и площадка вся проросла травой, господин Додэ нашел означенную мельницу для себя подходящей и пригодной для его занятий

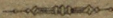
---

\*) Провинция на юге Франции.

поэзией; он принимает ее на свой риск и страх, обязуясь не искать с продавшего ее никаких расходов по ремонту.

Означенная продажа совершена за условленную сумму, каковую сумму господин Додэ, поэт, выплатил тут же, а господин Митифио получил все сполна, чему свидетелями были нотариус и нижеподписавшиеся.

Совершено в Памперигусте, в конторе нотариуса Онорэ, в присутствии Франсэ Мамаи, дудочника, и Луизэ, по прозванию Кик, которые вместе со сторонами и нотариусом, по прочтении сего, и подписали.





## ПИСЬМА С МОЕЙ МЕЛЬНИЦЫ.

### ВОДВОРЕНИЕ.

Как удивились кролики!.. Столько времени видели они, что двери мельницы закрыты, стены и площадка поросли травой, и, наконец, поверили в то, что порода мельников вымерла. Место это показалось им удобным, и они обратили его как бы в свою главную квартиру, в центр стратегических действий: в мельницу Жемапп \*) кроликов... В ночь, когда я приехал, их было, не преувеличивая, штук двадцать. Они сидели кружком на площадке и собирались греть лапки в лучах луны... Не успел я распахнуть слуховое окно,—фррт!—весь бивуак уже обратился в бегство, и маленькие беленькие спинки с вздернутыми хвостиками юркнули в кусты. Я надеюсь, что они еще вернутся.

Очень уж удивился, увидав меня, жилец первого этажа,—старая, зловещая сова, с головою мыслителя, живущая на мельнице больше двадцати лет. Я нашел ее в комнате наверху; неподвижная и прямая, сидела она на балке, среди

\*) Около бельгийского города Жемапп французский республиканский генерал Дюмурье наголову разбил австрийцев в 1792 году.

осыпавшейся известки и обвалившейся черепицы. Она поглядела на меня своим круглым глазом, затем, совершенно ошеломленная тем, что не узнает меня, стала кричать: «Ху! ху!» и мушкетельно хлопать серыми от пыли крыльями. Ах, эти мыслители! Никогда они не чистятся... Все равно! Этот молчаливый жилец, с его часто мигающими глазами и хмурой миной, мне всетаки больше по душе, чем всякий другой, и я поспешил возобновить с ним договор. Он, как и прежде, занимает весь верх мельницы, с входом через крышу. Себе я оставил комнату внизу, небольшую, выбеленную известкою, низкую и сводчатую, точно монастырская трапезная.

\* \* \*

Вот откуда пишу я вам. Дверь моя раскрыта настежь, комната залита солнечным светом.

Передо мною сбегает вниз по холму красивая сосновая роща, вся пронизанная светом. На горизонте вырисовываются своими тонкими гребнями отроги Альп \*)... Ни звука... Лишь изредка донесется откуда-то издали звук дудки, зашумит в кустах лаванды кулик, прозвонит по дороге колокольчик мула... Весь этот прекрасный провансальский пейзаж живет только светом.

Ну как же, скажите, могу я жалеть о вашем

---

\*) Альпийские горы находятся на юго-востоке Франции, в Швейцарии и на севере Италии.



шумном и темном Париже? Так мне хорошо у меня на мельнице! Вот именно такой уголок искал я,—маленький уголок, теплый и душистый, за тысячу верст от газет, извозчиков, туманов!.. И как все прелестно вокруг меня! Какая-нибудь неделя, как я устроился здесь, а голова у меня уже набита воспоминаниями и впечатлениями... Вот, слушайте! Как раз вчера вечером я присутствовал при том, как стада возвращались на ферму внизу косогора. И клянусь вам, я не променял бы этого зрелища на все премьеры, какие были у нас в Париже за эту неделю. Судите лучше сами!

Нужно вам сказать, что в Провансе существует обычай угонять, с наступлением жары, скот в Альпы. Животные и люди проводят там, в горах, пять-шесть недель под открытым небом, в траве по пояс. Затем, с первым дыханием осени, возвращаются вниз, на фермы, чтобы буржуазно пастьись на маленьких серых холмиках, пахнувших розмарином... Ну, так вот, вчера вечером стада вернулись. С утра уже ворота фермы стояли широко раскрытые; стойла были наполнены свежей соломой. Каждый час говорили: «Вот теперь они в Эйгире, теперь в Параду». Потом, под вечер, вдруг поднялся громкий крик: «Вот они!»—и мы увидали, как вдали, внизу, подвигалось в облаке пыли стадо. Казалось, вся дорога двигалась с ним... Впереди шли старые

бараны, выпятив рога, с свирепым видом; за ними—баранье стадо, слегка притомившиеся овцы, потом мулы с красными помпонами, покачивая в корзинах крохотных ягнят; потом собаки, все в поту, с высунутыми до земли языками, и дюжие парни-пастухи в плащах из красной шерстной материи, падавших до пят, точно кардинальские мантии.

Все это радостно дефилирует пред нами и с шумом потока исчезает в воротах... Надо было видеть, какое поднялось волнение во всем доме. Толстые, золотисто-зеленые павлины с толевыми хохолками с высоты своего насеста узнали пришедших и встретили их страшными трубными звуками. Дремавший курятник вдруг проснулся. Все вскочили—голуби, индюки, цесарки. Птичий двор точно с ума сошел; куры кудахчут во всю мочь... Словно каждый баран принес с собою, в своей шерсти, вместе с девственным альпийским запахом, немножко того свежего воздуха гор, который пьянит и заставляет плясать.

Среди всего этого шума доходит стадо до своего жилища. Что может быть очаровательнее! Старые бараны приходят в умиление при виде своих яслей. Крохотные ягнята, что родились в дороге и никогда не видели фермы, с изумлением оглядываются кругом.

Но всего трогательнее собаки, эти славные пастушьи собаки, совсем захлопотавшиеся около



своего скота и только его и видящие на всей ферме. Напрасно зовет их из глубины своей конуры сторожевой пес, напрасно манит их ведро под колодезем, до краев полное свежей воды: ничего не хотят они видеть, ничего не хотят слышать, пока не войдет в ферму весь скот, не шелкнет толстая шеколда у маленькой двери, и пастихи не усядутся за стол в низкой комнате. Только тогда пойдут собаки в конуру и там, локтя из своей миски суп, станут рассказывать своим товарищам с фермы, что делали наверху, в горах, в черной стране, где водятся волки и большие пурпурные наперстянки, полные росы.



### БОКЭРСКИЙ \*) ДИЛИЖАНС.

Это было в самый день моего приезда сюда. Я сел в бокэрский дилижанс,—старую добрую колымагу. Не Бог знает какой конец приходится ему делать; но когда вечером возвращается он домой, такой у него вид, точно вернулся он очень издалека. Нас было на империале пятеро, не считая кучера.

Во-первых,—сторож из Камарга \*\*), маленький человечек, коренастый, волосатый, с огромными, налитыми кровью глазами и с серебряны-

---

\*) Бокэр—город на реке Роне.

\*\*) Остров на Роне.

ми кольцами в ушах. Затем два бокэриа—булочник и его зять,—оба, очень красные, оба с одышкой, но с чудными профилями—две римские медали с изображением Вителлия \*). Наконец, на передке, рядом с кондуктором, человек... нет! фуражка, огромная фуражка из кроликовой кожи. Он почти все время молчал и печально глядел на дорогу.

Все они были между собою знакомы и, не стесняясь, громко говорили о своих делах. Камаргиец рассказывал, что возвращается из Нима; его вызывал туда судебный следователь по делу с пастухом, которого он ткнул вилами. В Камарге—народ горячий... Ну, и в Бокэре не лучше! Да вот, хоть наши два бокэриа. Чуть друг другу горло не перегрызли, поспорив из-за Пречистой Девы. Повидимому, булочник был из прихода, который издавна чтит мадонну, что провансальцы зовут *М а т е р ь Д о б р а я* и изображают с Младенцем на руках. Зять же пел в совсем новенькой церкви во имя Беспорочного Зачатия, и Богоматерь изображается там с улыбкой на устах, с опущенными книзу руками, от которых исходят лучи. Это и было причиной ссоры. Вы бы только послушали, как эти два добрых католика честили и друг друга, и своих мадонн!

---

\*) Римский полководец, провозглашенный императором в 69 г. по Р. X. и в том же году убитый.



— Хороша твоя, Непорочная!

— Убирайся со своею Доброй Матерью!

— Немало старичков она околпачила, в Палестине!..

— А твоя, тьфу, уродина! Чорт знает, чего она только не выкидывала... Спроси-ка у святого Иосифа.

Можно было подумать, что находишься в неаполитанской гавани. Не хватало только, чтобы засверкали ножи. Я уверен, что этот великолепный богословский турнир именно так и закончился бы, если бы не вмешался кучер.

— Оставьте нас в покое с вашими мадоннами,—смеясь, сказал он бокэрсам.—Все это бабье дело! Нечего туда соваться мужчинам.

Он шелкнул бичом, скептически усмехнулся, и все с ним согласились.

\* \* \*

Диспут окончился. Но булочник, раз начав, должен был до конца исчерпать свое вдохновение. И, повернувшись к несчастной фуражке, безмолвно грустившей у себя в углу, он задорно сказал:

— Ну, а твоя жена, точильщик?... Она какого прихода?

Надо полагать, в этой фразе был какой-то очень смешной смысл, потому что весь империял залился громким хохотом... Точильщик не смеял-

ся. Он как-будто не слышал. Видя это, булочник повернулся ко мне:

— Вы, сударь, не знаете его жены? Во всем Бокэре не сыщешь другой такой. Тоже прихотливая!

Все засмеялись еще сильнее. Точильщик все так же неподвижно, не подымая головы, совсем тихо проговорил:

— Замолчи, булочник.

Но у забияки-булочника не было ни малейшего желания замолчать.

— Болван! Товарищу не приходится жаловаться, что досталась ему такая жена... С ней минуты не поскучаешь... Посудите сами! Каждые полгода с кем-нибудь да убежит. А когда вернется,—всегда найдется о чем порассказать... Да, занятная семейная жизнь... Нет, вы подумайте, monsieur, не были они еще и год женаты,—и трах!.. жена сбежала в Испанию с одним торговцем шоколадом. Муж остался дома один, чтобы лить слезы и пить... Ходил, как помешанный. Прошло некоторое время,—и красотка вернулась в костюме испанки, захватив и тамбурины с бубенчиками. Мы все говорили ей: Спрячься, убьет он тебя!.. Ну, вот еще! Убивать... Они преспокойно зажили опять вместе, и она научила его играть на тамбурине.

Опять взрыв хохота. Точильщик, все не подымая головы, пробормотал из своего угла:



— Замолчи, булочник.

Булочник не обращал никакого внимания и продолжал:

— Вы, быть может, думаете, monsieur, что красotka после возвращения из Испании успокоилась?.. Ну, нет! Ведь муж ее так мило отнесся к тому, что случилось! И ей захотелось попробовать еще раз... После испанца—офицер, потом матрос с Роны, потом музыкант, потом... Да разве я знаю?.. Но забавно, что каждый раз—все та же комедия. Жена исчезает, муж плачет. Она возвращается,—и он утешается. И каждый раз ее увозят, а он принимает обратно... Не правда ли, терпение у этого супруга! Надо сознаться, и красotka же эта маленькая точильщица... Лакомый кусочек: живая, маленькая, пухленькая, белая, глаза, как орехи, так и смеются, когда смотрят на мужчину... Ей-Богу, парижанин, если побываете в Бокэре...

— О, замолчи же, булочник... прошу!—еще раз признаю бедный точильщик, и в голосе его было страдание.

В эту минуту дилижанс остановился. Мы были у фермы Англор. Оба бокэрца сошли, и я, клянусь вам, не стал бы их удерживать... Ну, и насмешник этот булочник! Он был уже во дворе фермы, а оттуда все еще раздавался его смех.

С их уходом империял опустел. В Арле спустили еще камаргйца. Кучер пошел пешком рядом с лошадьми... Мы остались одни, я и точильщик. Каждый сидел молча в своем уголке. Было жарко. Кожаный верх сильно нагрелся. Иногда глаза мои смыкались, и голова делалась тяжелою, но уснуть было невозможно. В ушах неотвязно звучало: «Замолчи, прошу», — такое кроткое и мучительное. И бедняга тоже не спал. Я видел, как вздрагивали его огромные плечи; рука, длинная, грубая, дрожала на спинке сиденья, как у старика. Он плакал.

— Вам тут вылезать, парижанин!—вдруг крикнул мне кучер и кончиком бича указал на зеленый холм и на мельницу. Она напоминала огромную бабочку.

Я поспешил сойти... Проходя мимо точильщика, я попробовал взглянуть ему под фуражку; мне хотелось увидеть его лицо. Он точно угадал мою мысль, быстро поднял голову и посмотрел мне в глаза.

— Хорошенько взгляните в меня,—глухо проговорил он.—И если услышите вы наднях, что случилось в Бокзэре несчастье, вы можете сказать, что знаете убийцу...

Лицо у него было печальное, потухшее, с маленькими поблекшими глазами. В глазах еще дро-



жали слезы, но в голосе звучала ненависть. Ненависть—это гнев слабых. Будь я точильщицей, я бы остерегалась...

---

### СЕКРЕТ ХОЗЯИНА КОРНИЛЛЯ.

Франсэ Мамаи, старик, играющий на дудке, иногда заходил ко мне вечером посидеть, за бутылкой вина. Наднях он рассказал мне одну маленькую деревенскую драму, свидетельницей которой была моя мельница лет двадцать назад. Рассказ старика тронул меня, и я постараюсь вам передать его так, как слышал.

Вообразите на минуту, дорогие читатели, что перед вами графин душистого вина, и говорит с вами старый дудочник.

«Край наш, мой добрый господин, не всегда был такой мертвый и глухой, как теперь. Когда-то тут была большая торговля мукой, и на десять верст кругом фермеры привозили к нам на мельницу свое зерно... Вокруг деревни все холмы были покрыты ветряными мельницами. Направо и налево, куда ни погляди,—только одни крылья, которые вертел ветер; длинными рядами спускались и подымались по дороге ослики с мешками. И целую неделю радовалось сердце от шума кнутов, от треска мешков и покрикиваний рабочих на мельницах... По воскресеньям мы целыми ком-

паниями отправлялись на мельницы. Мельники ставили бутылку муската. Мельничихи в кружевных накидках и с золотым крестом на груди были прекрасны, как королевы. Я брал дудку, и до самой ночи танцевали фарандолу. Эти мельницы были радостью и богатством нашего края.

К несчастью, французам из Парижа пришла мысль построить на дороге в Тараскон паровую мукомольню. Крестьяне понемногу стали отправлять свою рожь на мукомольню, а бедные ветряные мельницы остались без работы. Некоторое время они пробовали бороться, но пар оказался сильнее. И одна за другой мельницы закрывались. Уже не показывались ослики... Красавицы-мельничихи продали свои золотые кресты... Прощай, мускат! Прощай, фарандола!.. Напрасно дул ветер: крылья висели неподвижно... Затем, в один прекрасный день община решила снести все эти развалины, и на их месте развели виноградники и оливковые деревья.

Однако, среди этого разгрома одна мельница уцелела; ее крылья продолжали вертеться на пригорке, под самым носом мукомолов. Это была мельница мэтра Корнилля, та самая, где мы сейчас с вами беседуем».

\* \* \*

«Хозяин Корниль был старый мельник. Уже лет шестьдесят возился он с мукою и был в свое



дело прямо влюблен. Постройка паровой мукомольни точно свела его с ума. Целую неделю бегал он по деревне, собирал вокруг себя народ и изо всех сил кричал, что мукой с мукомольни хотят отравить Прованс. «Не ходите туда,—говорил он.—Эти разбойники делают хлеб паром, а пар—изобретение дьявола; я же работаю только ветром, который—дыхание доброго Господа Бога». И находил он тысячи прекрасных слов во славу ветряных мельниц, но никто их не слушал.

Тогда, затаив злобу, старик заперся у себя на мельнице и стал жить один, как дикий зверь. Он не хотел даже, чтобы у него жила его внучка Виветта, пятнадцатилетняя девочка, у которой, после смерти родителей, не осталось на свете никого, кроме дедушки. Бедной девочке пришлось самой зарабатывать себе хлеб. Она ходила по фермам и нанималась там на работу во время жатвы, сбора шелковичного червя и маслин. А ведь, казалось, дедушка любил свою внучку. Не раз он тащился пешком версты четыре под жгучим солнцем, чтобы проведать ее на ферме, где она работала. Целыми часами он глядел на нее, и в глазах были слезы...

В деревне думали, что старый мельник прогнал Виветту из скупости. Не делало ему чести, что позволял он девочке шататься по фермам, подвергаться разным грубостям и всему друго-

му. Осуждали его также за то, что такой почтенный человек, как мэтр Корниль, которого до сих пор все почитали, бродил теперь по дорогам, как цыган—босой, в дырявой шляпе, в лохмствах... Нам, старикам, становилось совестно за него, когда он в таком виде появлялся в церкви. Корниль это ясно чувствовал и перестал садиться впереди. Оставался в самой глубине церкви, возле кропильницы, среди нищих.

В жизни хозяина Корниля было что-то неясное. Уже давно никто в деревне не свозил к нему зерна, а крылья его мельницы все вертелись попрежнему... Вечером старого мельника можно было встретить на дороге; впереди него плелся его ослик с большими мешками с мукой.

— Добрый вечер, хозяин Корниль!—кричали ему крестьяне.—Мельница-то все у вас работает?

— Работает, детки, — отвечал старик с веселым видом.—Благодарение Богу, в работе недостатка нет.

А когда его спрашивали, откуда же, чорт возьми, у него столько работы, он прикладывал палец к губам и многозначительно отвечал:

— Молчок... Я работаю для вывоза...

Больше от него нельзя было ничего добиться. Заглянуть к нему на мельницу нечего было и думать... Маленькая Виветта, и та не смела к нему войти... Дверь всегда была на запоре, боль-



шие крылья всегда в движении; старый ослик бродил поблизости и щипал траву, а на выступе окна сидел и грелся на солнце огромный, тощий кот и смотрел злыми глазами.

Была во всем этом какая-то тайна. И много было всяких разговоров. Каждый объяснял по-своему секрет хозяина Корнилля. Но все толки сводились к тому, что на мельнице было еще больше мешков с деньгами, чем с мукой.

\* \* \*

«В конце концов, все открылось,—вот как.

У меня иногда собиралась молодежь потанцевать под мою дудку. Я стал замечать, что старший из моих мальчиков и маленькая Виветта влюбились друг в друга. Сказать правду, я не рассердился, потому что имя Корнилля, в конце концов, пользовалось у нас уважением, а к тому же мне было бы очень приятно видеть, как этот маленький, хорошенький воробышек, Виветта, порхает в моем доме. Так как наши влюбленные частенько бывали вместе, я хотел—мало ли что может случиться! — поскорее оформить все это дело. Я отправился к дедушке на мельницу переговорить с ним... Ах, старый колдун! Вы бы видели, как он меня принял. Не было никакой возможности заставить его открыть дверь. Что было делать! Я растолковал ему, как мог, в чем дело, через замочную скважину. И все время, пока

я с ним разговаривал, над моей головою, точно чорт какой-то, мурлыкал этот тощий кот.

Старик не дал мне кончить и дерзко крикнул, чтоб я убирался к своей дудке; что, если я очень спешу поженить своего мальчика, то могу поискать девушек на мукомольне... Кровь ударила мне в голову от этих гадких слов. Но у меня хватило благоразумия, и я сдержав себя. Я оставил старого сумасшедшего с его мельницей, вернулся домой и рассказал детям о своей неудаче... Эти бедные ягнята не хотели верить. Они выпросили у меня разрешения отправиться самим на мельницу, вдвоем, чтобы поговорить с дедом... У меня не хватило духу им отказать, и мои влюбленные полетели.

Когда они поднялись на мельницу, хозяина Корнилья там не было. Он куда-то ушел. Дверь была заперта двойным замком. Но старый чудак, уходя, оставил на дворе лестницу. У детей сейчас же явилась мысль забраться через окно и хоть одним глазком посмотреть, что такое на этой удивительной мельнице...

Как странно! Мельница была совершенно пустая... Ни одного мешка, ни одного зернышка... Не видно муки ни на стенах, ни на паутине... Не было даже того приятного, теплого запаха размолотой пшеницы, которым обыкновенно пропитана мельница... Большой деревянный жолоб— весь в пыли, и спит на нем большой тощий кот.



И комната внизу имела тот же вид нищеты и запустения: скверная кровать, несколько лохмотьев, на ступеньке лестницы кусок хлеба; а в углу свалены три-четыре продранных мешка, из которых сыпался мусор и известка.

Так вот в чем был секрет хозяина Корнилля! Он таскал по вечерам этот мусор, чтобы спасти честь мельницы и заставить всех думать, что на ней размалывается мука... Бедная мельница, бедный Корниль! Уже давно мукомолы отняли у них последнюю работу. Но крылья все еще кружились и мельница делала вид, что работает.

Дети вернулись все в слезах и рассказали, что увидали. Сердце больно сжалось у меня от их слов... Не теряя ни минуты, я побежал к соседям, в двух словах рассказал им все, и мы решили сейчас же снести на мельницу Корнилля все зерно, какое у нас было... Сказано—делано. Вся деревня отправилась в путь, и мы пришли наверх с целой процессией осликов, навьюченных хлебом, на этот раз—настоящим хлебом.

Ворота мельницы были настезь. На мешке с мусором сидел хозяин Корниль и плакал, опустив на руки свою голову. Он только что вернулся, увидал, что кто-то в его отсутствие проник на мельницу, и печальная его тайна открыта.

— Несчастный я!.. — бормотал он. — Теперь остается одно—умереть... Мельница обесчещена...

И он рыдал так, что душа надрывалась, на-

зывал свою мельницу всякими нежными именами и обращался к ней, как к живому существу.

В это время ослики уже поднялись на площадку, и мы, как в доброе старое время ветряных мельниц, стали громко кричать:

— Эй, кто там есть!.. Эй, хозяин Корнилль!

И вот выросла у двери целая гора мешков, и со всех сторон рассыпались прекрасные золотые зерна...

Хозяин Корнилль широко раскрыл глаза. Он забрал зерна в пригоршню своей стариковской руки, и, со смехом и слезами, сказал:

— Ведь это хлеб!.. Господи Боже!.. Настоящий хлеб!.. Дайте мне поглядеть!..

Он повернулся к нам и продолжал:

— О, я знал, я знал, что вы опять придете ко мне... Все эти мукомолы—жулики.

Мы хотели торжественно понести его в деревню.

— Нет, нет, дети мои. Раньше надо дать поесть моей мельнице... Подумайте, сколько времени не было у нее ни зернышка под зубами!

И не могли все мы смотреть без слез, как бедный старик суетился, метался во все стороны, опорожнял мешки, присматривал за жерновом. Зерно размалывалось, и тонкая струйка мучной пыли тихо вилась к потолку.

Надо отдать нам справедливость: с этого дня мы никогда не оставляли старого мельника без



работы. Потом раз утром хозяин Корниль умер. И крылья нашей последней мельницы перестали вертеться, на этот раз — уже навсегда. После смерти Корниля никто не продолжал его дела. Что поделаешь, господин!.. Всему в этом мире приходит конец. Должно быть, прошло и время ветряных мельниц, как и время барок по Роне, время парламентов и курток в крупных цветах».



### КОЗА Г. СЕГЭНА.

Пьеру Гренгуару, лирическому поэту в Париже.

Ты навсегда останешься таким, мой бедный Гренгуар!

Как? Тебе предлагают место хроникера в солидной парижской газете, а у тебя хватает духу отказать?.. Да посмотри ты на себя, несчастный мальчик! Посмотри на свою дырявую куртку, на стоптанные башмаки, на истощенное лицо свое, которое кричит о голоде. Вот до чего довела тебя страсть к красивым рифмам! Вот во что обогатились тебе десять лет честного служения в пажках у господина Апполона \*)... Да неужели же тебе, наконец, не стыдно?

---

\*) Один из греческих и римских богов, покровитель искусств.

Становись хроникером, глупый! становись хроникером! Будешь ты зарабатывать хорошие деньги: будешь всегда обедать у Бребана, и в дни премьер будешь ты приходить с новым пером на береге.

Нет? Не хочешь?.. Предпочитаешь до конца оставаться свободным?.. Хорошо, послушай историю про козу г. Сегэна. Увидишь, во что обходится это желание жить свободно.

\* \* \*

Г. Сегэну никогда не везло с его козами.

Они у него исчезали все одинаковым образом, одна, как другая: в одно прекрасное утро они обрывали веревку, уходили в горы, и там их пожирал волк. Ни ласки хозяина, ни страх перед волком,—ничто не удерживало их. Должно быть, были это козы независимые, желавшие, во что бы то ни стало, воли, свободы.

Почтенный г. Сегэн совершенно не понимал характера своих животных и был крайне удручен.

— Кончено,—говорил он,—козам у меня скучно. Больше не заведу ни одной...

Однако, не выдержал, и хотя погибло у него уже шесть коз, он купил седьмую. Только на этот раз выбрал совсем молоденькую, чтобы она лучше привыкла жить у него.



Ах, Гренгуар, какая она была хорошенькая, эта маленькая коза г. Сегэна, с кроткими глазами, с маленькой бородкой, точно эспаньолка у унтер-офицера, с блестящими черными копытами и длинной белой шерстью, которая укутывала ее, точно плащом! Она была почти так же очаровательна, как козочка Эсмеральды \*). Помнишь, Гренгуар? К тому же была она кроткая, ласковая; когда ее доили, она не двигалась, не залезала ножками в посуду. Восторг, а не коза!

Позади дома г. Сегэна был небольшой лужок, окруженный боярышником. Сюда он и поместил свою новую пансионерку. Он привязал ее на длинной веревке к колу, в лучшем уголке лужка, и время от времени приходил взглянуть, хорошо ли ей. Коза была, повидимому, очень счастлива и так радостно пощипывала траву, что сердце г. Сегэна наполнялось восторгом и умилением.

Наконец-то, — думал бедняга, — нашел я хоть одну, которой не будет у меня скучно! Г. Сегэн ошибся. Коза затосковала.

\* \* \*

Однажды, глядя на горы, она подумала:

«Как, должно быть, хорошо там, наверху! Какое удовольствие прыгать среди вереска, без

---

\*) Эсмеральда — героиня романа В. Гюго „Собор Парижской Богоматери“, пыганка, не разлучавшаяся со своей козочкой.

этой противной веревки, которая натирает шею!.. Хорошо пасть в загоне ослу или быку. А козам нужен простор».

С этой минуты трава на лужке стала ей казаться пресной... Заскучала коза. Похудела, молоко стало убывать. Больно было смотреть, как по целым дням дергала она свою веревку, повернув голову к горам, раздув ноздри и жалобно выкрикивая свое м-э-э-э...

Г. Сегэн видел, что с козой что-то приключилось, но не мог понять—что... Раз утром, когда он кончил ее доить, коза повернулась к нему и сказала на своем языке:

— Послушайте, г. Сегэн, скучно мне у вас, отпустите меня в горы.

— О, Господи!.. И она тоже!—воскликнул пораженный г. Сегэн, в волнении опрокинул поддонник и сел на траву возле козы.

— Как же это, Бланкетта! Бросить меня хочешь?

Бланкетта ответила:

— Да, г. Сегэн.

— Что же, травы тебе здесь мало?

— О, нет, г. Сегэн.

— Может быть, веревка коротка? Хочешь, я привяжу подлиннее?

— Не стоит, г. Сегэн.

— Так чего ж тебе надо, чего ты хочешь?

— Хочу в горы, г. Сегэн!



— Но, несчастная, ты не знаешь — в горах волк... Что ты будешь делать, когда он придет?

— Я забодаю его рогами, г. Сегэн.

— Смеется волк над твоими рогами! Он уже растерзал у меня не мало коз, куда рогастее тебя. Помнишь ты бедную старушку Ренод, которая была тут в прошлом году? Какая коза! Сильная и злая, как козел. Она целую ночь билась с волком... а волк и ее с'ел.

— Ах, бедная Ренод. Но это все равно, г. Сегэн. Отпустите меня в горы!

— Господи! — сказал г. Сегэн, — да что же это такое с моими козами? Вот, еще одну растерзает волк... Так нет же: я спасу тебя, негодная, против твоей воли... А чтобы ты не могла оборвать веревку, запру тебя в хлев, и останешься ты там навсегда.

И с этими словами г. Сегэн отнес козу в темный хлев и запер дверь на двойной замок. К несчастью, он забыл про окно; и только он повернулся — коза выпрыгнула и убежала.

Ты смеешься, Гренгуар! Ну, еще бы! Ты ведь на стороне коз и против этого славного г. Сегэна... Посмотрим, будет ли тебе сейчас так же смешно?

Когда белая коза пришла в горы, все кругом нее заликовало. Никогда еще старые сосны не видали такой красоты. Козу приняли, как малень-

кую царевну. Каштаны склонялись до земли, чтобы концами своих ветвей приласкать ее. Злаотистые травы расступались, когда она шла и изливали все свое благоухание. Вся гора приветствовала ее.

Представляешь ты себе, Гренгуар, как была счастлива наша коза! Нет больше веревки, кола... ничего, что мешало бы ей бегать, скакать, куда вздумается. И сколько травы! Выше рогов, дорогой мой!.. Да какая трава! Душистая, тонкая, словно кружево... Совсем не то, что на лужке. И сколько цветов!.. Большие синие колокольчики, пурпурные наперстянки с длинными чашечками,—целый лес диких цветов, полных пьянящих соков!..

Белая коза, полупьяная, валялась в траве, ножками кверху, каталась по всему косогору вместе с упавшими листьями и каштанами... Потом вдруг, одним прыжком, вскакивала на ноги. Гоп — и пустилась вперед, вытянув голову, через кустарники, буксовые деревца; то вбежит на самую вершину горы, то спустится в глубину оврага; наверху, внизу, повсюду. Право, точно убежали от г. Сегэна в горы не одна, а десять коз.

Бланкетта ничего не боялась.

Одним прыжком она перескакивала через широкие потоки, и они обдавали ее водяной пылью и пеной. Вся мокрая, она забиралась на плоский утес и растягивалась, чтобы обсохнуть на солн-



це... Раз, с цветком ракутника в зубах, она побежала к краю плоскогорья и вдруг увидела внизу, совсем внизу, на равнине, дом г. Сегэна, с лужком позади. Это рассмешило ее до слез.

— Какой он маленький! — сказала она. — Как это я могла там жить!

Бедняжка! Она забралась так высоко, что показалась сама себе, по крайней мере, такой же огромной, как мир...

Словом, хороший это был день для козы г. Сегэна. Около полудня, носясь во все стороны, она наткнулась на стадо серн, которые усердно грызли кустики дикого винограда. Наша маленькая беглянка в белом платье произвела целую сенсацию. Ей уступили лучшее место у виноградника, и все за нею ухаживали... Кажется даже, — но это останется между нами, Гренгуар, — одному молодому самцу с черной шерстью посчастливилось понравиться Бланкете. Влюбленные час или два пропадали в лесу, и если хочешь ты знать, что они друг другу говорили, пойди спроси у болтливых ручьев, которые невидимо бегут под мхом.



Вдруг подул холодный ветер. Вершина горы стала фиолетовой. Наступил вечер.

— Уже! — сказала маленькая козочка и оставилась, очень удивленная.

Внизу поля потонули в туманах. Лужок г. Сегэна исчез, а от домика виднелась только крыша и струйка дыма. Коза услышала колокольчики возвращавшегося стада, и так печально стало у нее на душе. Над нею пролетел кречет и задел ее крылом. Она вздрогнула... Потом в горах что-то завывало...

— Гу, гу!

Она вспомнила о волке. Весь день она, безумная, о нем и не подумала... В то же мгновение далеко, далеко в долине прозвучала труба. Это добрый г. Сегэн прибегал к последнему средству.

— Гу, гу!..—завывал волк.

— Вернись, вернись!..—кричала труба.

Бланкетта хотела было вернуться, но вспомнились кол, веревка, забор, лужок. Ей показалось, что теперь она не сумеет приспособиться к такой жизни. Лучше остаться..

Труба замолкала...

Коза услышала за собой шум листьев, обернулась и увидала в темноте два коротких, совсем прямых уха, два светящихся глаза... Это был волк.



Огромный, неподвижный, он сидел на задних лапах и смотрел на маленькую беленькую козу, предвкушая ожидавшее его удовольствие. Волк знал, что съест ее, и потому не спешил. Только,



когда коза отвернулась, он засмеялся со зло-  
стью:

— Ха, ха! маленькая козочка г. Сегэна!—И он  
провел красным толстым языком по своим губам  
цвета трута.

Бланкетта поняла, что погибла. Вспомнилась  
история старой Ренод, как та всю ночь боро-  
лась, а на утро была растерзана. Уж лучше, по-  
думала она, пусть с'ест сейчас же. Потом раз-  
думала и приняла оборонительную позу, опусти-  
ла голову, выставила вперед рожки: коза г. Се-  
гэна была ведь храбрая... Не то, что она надея-  
лась убить волка,—козы не убивают волков,—но  
хотела посмотреть, сумеет ли она продержаться  
так же долго, как Ренод...

Чудовище приблизилось, и маленькие рожки  
заплясали... Ах, бедная козочка! Как она стара-  
лась! Более десяти раз—я не лгу, Гренгуар,—за-  
ставляла она волка отступать, чтобы перевести  
дух... В эти короткие промежутки лакомка наско-  
ро еще срывала стебель любимой травы, потом  
снять приступала к бою, с полным ртом. Так  
продолжалось всю ночь. Время от времени коза  
г. Сегэна взглядывала на звезды, мерцавшие на  
светлом небе, и говорила себе:

«О! только бы мне продержаться до рас-  
света...»

Одна за другой стали гаснуть звезды. Вдвое  
сильнее стали удары рогов Бланкетты, вдвое

больнее впивались зубы волка... На горизонте проступила бледная полоска света... С фермы доносилось пение охрипшего петуха.

— Наконец-то! — сказала бедняжка, которая только и ждала дня, чтобы умереть, и упала на землю. Ее белый мех был в пятнах крови...

Тогда волк бросился на маленькую козу и с'ел ее.

\* \* \*

Прощай, Гренгуар!

История, которую ты слышал,—это не сказка, выдуманная мною. Если тебе когда-нибудь случится побывать в Провансе, тамошние жители часто будут тебе рассказывать про козочку г. Сегена, как она всю ночь билась с волком, а на утро волк ее с'ел.

Понимаешь, Гренгуар?

...а на утро волк ее с'ел.

— — — — —

### ЗВЕЗДЫ.

Рассказ провансальского па-  
стуха.

В то время, как я пас овец в Любероне, я по целым неделям не видал живой души, совершенно один в поле, со своей собакой Лабри и со



своими овцами. Иногда увидишь монаха из Мондел'Юр, который собирает лекарственные травы, или встретишь черное лицо дьемонтского угольщика. Но все это были люди наивные, молчаливые, от уединенного образа жизни потерявшие всякую потребность разговаривать; да и не знали они ничего из того, о чем говорят внизу, в деревнях, в городах. Зато каждый раз, как раздавался по убегавшей вниз дороге колокольчик мула с нашей фермы, привозившего мне провизию на две недели, и когда из-за пригорка начинала вырисовываться голова маленького м и а р р о (мальчика с фермы) или рыжий чепец старой тетки Норад,—я чувствовал себя поистине счастливым. Я заставлял их рассказывать мне все новости, о крестинах, о свадьбах. Особенно же меня интересовало, что подельвает дочь моих хозяев, Стефанетта, самая красивая девушка на десять верст кругом. Я старался не показать, что очень ею интересуюсь, и только расспрашивал, часто ли она ходит на всякие праздники, на вечеринки, есть ли у нее новые ухаживатели. Тем, кто вздумал бы меня спросить, какое мне то до всего этого дело, бедному пастуху с горы, я бы ответил, что мне двадцать лет, а Стефанетта—прекраснейшее, что я видел в своей жизни.

Раз в воскресенье я поджидал свои двухнедельные припасы; но прибыли они очень поздно. Утром я говорил себе: «Это из-за большой мес-

сы». Потом, в полдень, ударила сильная гроза, и я подумал, что мул не мог отправиться в путь из-за размытой дороги. Наконец, около трех часов, когда небо прояснилось и умытые дождем горы засверкали на солнце, я услышал среди шелеста обсыхавших листьев и рокота раздувшихся от дождя ручейков колокольчик. Он позвякивал так весело, так радостно, точно пасхальный колокольный звон. Но с мулом был не маленький миарро, не старушка Норад. Это была... угадайте кто?... наша барышня, дети мои! сама барышня! Она сидела среди ивовых корзин, вся такая розовая от горного воздуха, освеженного грозой.

Мальчик заболел, а тетка Норад уехала к своим детям. Все это рассказала мне прекрасная Стефанетта, слезая с мула. И приехала она поздно потому, что сбилась с дороги. Но по праздничной одежде, по цветной ленте, яркой юбке в кружевах скорее можно было подумать, что она замешкалась где-нибудь на празднике, а не отыскивала дорогу среди кустарников. О, маленькое создание! Глаза мои не могли наглядеться на нее. Правда, я никогда не видал ее так близко. Несколько раз зимой, когда стада спускались в долину, и я приходил вечером на ферму, она быстро проходила по комнате, не заговаривая ни с кем из слуг, всегда такая нарядная и немного надменная... А теперь, — вот она стоит передо



мной, пришла только для меня. Ну, как было не потерять головы?

Достав из корзины провизию, Стефанетта стала с любопытством оглядываться кругом. Приподняв немного свою красивую праздничную юбочку, чтобы не запачкаться, она пошла в загон посмотреть, где я сплю; мое соломенное ложе, покрытое бараньим мехом, моя огромная шляпа, висевшая на изгороди, палка, кремневое ружье, — все это ее так занимало.

— Так вот где ты живешь, мой бедный пастух? Должно быть, скучно тебе тут всегда одному! Что ты делаешь? О чем думаешь?

Мне хотелось ответить: «О вас, хозяйка», и я бы не солгал. Но я был так смущен, что не находил слов. Я уверен, она заметила это, и ей доставляло удовольствие смущать меня еще больше своими лукавыми вопросами.

— А твоя подружка, пастух, приходит навещать тебя?.. Это, наверно, какая-нибудь золотая козочка или фея Эстерелль, которая порхает только по верхушкам гор.—И она сама, говоря это, походила на фею Эстерелль: так весело смеялась она, запрокинув назад голову. Потом затропилась уходить. Ее посещение казалось мне каким-то видением.

— Прощай, пастух.

— Привет вам, хозяйка.

И вот она исчезла, увезя пустые корзины. Когда она скрылась за поворотом тропинки, сбегавшей вниз, мне казалось, что камни, которые катились из-под ударов копыт мула, один за другим тяжело падали мне на сердце. Долго, долго слышал я их стук. И до конца дня был я точно зачарованный; боялся шевельнуться, чтобы не спугнуть трезу. Под вечер, когда глубина долины начала синеть, а блеявшие овцы жались одна к другой, чтобы идти в загон, я услышал, что кто-то зовет меня снизу, и вдруг увидел пред собою нашу барышню. Она уже не смеялась, как раньше; она вся дрожала от холода, от страха, от сырости. Внизу, у склона, Сорга разлилась от дождя; она хотела, во что бы то ни стало, перейти ее и чуть не утонула. Самое страшное было то, что в такой поздний час нечего было и думать возвращаться на ферму. Наша барышня ни за что не нашла бы одна дороги, а я не мог оставить стадо. Мысль провести ночь в горах ее сильно волновала; в особенности ее тревожило, что о ней будут беспокоиться дома. Я, как умел, старался ее успокоить:

— В июле ночи короткие, хозяйка... Не замечайте, как рассветет.

Я быстро развел большой костер, чтобы она могла погреть свои ножки, посушить свое платье, все пропитанное водой из Сорги. Я принес ей молока, овечьего сыра, но бедняжка и думать



не хотела погреться, поест. Горячие слезы текли из ее глаз, и, глядя на нее, мне самому хотелось плакать...

Между тем совсем стемнело. Сошла ночь. И на гребне гор лежал лишь слабый золотой налет света, слабо алел закат...

Я хотел, чтобы барышня пошла в загон отдохнуть. Я разостлал свежую солому и покрыл ее новой великолепной шкурой; пожелал ей доброй ночи и сел снаружи, у входа в загон... Бог свидетель, что, несмотря на пламя любви, что сжигало мою кровь, у меня не было никакой дурной мысли. Я только был горд сознанием, что тут, в уголке загона, совсем рядом со стадом, с любопытством глядевшим на спящую, отдыхала, доверившись моей охране, дочь моих хозяев, точно самая драгоценная и самая белая овечка среди всех других. Никогда небо не казалось мне таким глубоким, звезды—такими сверкающими... Вдруг перекладина от входа в загон откинулась, и показалась прекрасная Стефанетта. Она не могла заснуть. Животные все время шумно ворошили свою солому, или блеяли во сне. Она предпочитала посидеть у костра. Я накинул ей на плечи свой козий мех, развел посильнее огонь, и мы молча сидели друг возле друга. Если проводили вы когда-нибудь ночь без сна под открытым небом, вы знаете, что в ночные часы, когда кругом все спит, пробуждает-

ся среди безмолвия и тишины таинственный мир. Тогда ручьи поют звончее, болота зажигают свои огоньки. Привольно летают все духи гор. В воздухе раздаются шорохи, едва внятные шумы; точно слышишь, как растут ветви, как прозябает трава. День—это жизнь существ, ночь—жизнь предметов. Кто к этому не привык, тому страшно... И наша барышня дрожала от страха и при малейшем шорохе прижималась ко мне. С болота, которое светилось под нами, поднялся протяжный, жалобный крик и, разрастаясь, докатился до нас. В то же мгновение над нашими головами в том же направлении прокатилась падающая звезда. Точно жалобный крик, который мы только что услышали, нес с собой огонек.

— Что это такое?—тихо спросила Стефанетта.

— Душа, которая летит в рай, хозяйка.—И я перекрестился.

Она тоже перекрестилась и сидела сосредоточенная, задумчиво глядя вверх. Потом сказала мне:

— Правда, что вы, пастухи,—колдуны.

— Ничего подобного, барышня. Но тут мы живем ближе к звездам и потому мы лучше, чем жители долины, знаем, что на них происходит.

Она продолжала смотреть вверх, опершись головой на руку, закутанная в бараний мех, точно небесный пастушок.

— Сколько их! Как это красиво! Никогда я



не видала столько звезд. Ты знаешь их названия, пастух?

— Конечно, хозяйка... Вот посмотрите! Как раз над нами, вот тут — Путь святого Иакова (Млечный путь). Он ведет из Франции прямо в Испанию. Его начертал святой Иаков, чтобы указать путь храброму Карлу Великому, когда тот воевал с сарацинами \*). Немного подалее — Колесница душ (Большая Медведица) с четырьмя блестящими осями. Три звезды, что впереди, это Тиконя, а совсем маленькая, против третьей, это Возница. Видите кругом этот дождь падающих звезд? Это души, которые Господь не хочет принять к Себе... Немного пониже Грабли или Трицаря (Орион). Нам они заменяют часы. Стоит мне взглянуть, и я уже знаю, что теперь за полночь. Еще немного ниже, по направлению к югу, горит Жан из Милана, самая яркая из звезд (Сириус). Вот что рассказывают пастухи про эту звезду. Однажды ночью Жан из Милана вместе с Тремя царями и с Наседкой (Стожары) были приглашены на свадьбу одной из звезд — их приятельницы. Наседка, самая

---

\*) Все эти подробности народной астрономии взяты из Провансальского альманаха, издающегося в Авиньоне. Карл Великий, французский король, основатель великого государства, обнимавшего земли нынешней Франции, Германии и Италии. В 800 г. короновался в Риме императорскою короною.

расторопная, отправилась, говорят, раньше всех и взяла верхний путь. Вот, посмотрите туда, повыше, совсем глубоко в небе. Три царя продолжили себе путь пониже и догнали ее. Но ленивый Жан из Милана, который очень застался, остался совсем позади и, рассердившись, бросил свою палочку, чтобы остановить их. Вот почему Трех царей называют также Палочкой Жана из Милана. Но самая прекрасная из всех звезд—это наша звезда, Звезда пастуха, которая светит нам и на рассвете, когда мы выгоняем стадо и вечером, когда мы возвращаемся. Мы называем ее еще Мателлона, красавица Магеллона, которая бежит за Пьером из Прованса (Сатурн) и каждые семь лет вступает с ним в брак.

— Как, пастух, разве бывают браки между звездами?

— Ну, конечно, хозяйка.

Я уже собирался объяснить ей, что такое были эти браки,—и вдруг я почувствовал, как что-то свежее, нежное легко опустилось на мое плечо. Это наклонилась к моему плечу ее головка, отягченная сном. Тихо развевались ее ленточки, кружева, ее волнистые волосы. Так сидела она, недвижимая, до того момента, пока звезды на небе не стали бледнеть, исчезая в сиянии нарождавшегося дня. Я смотрел, как она спит, немного взволнованный в глубине, но свято охраняемый



этой светлой ночью, которая всегда дарила мне лишь хорошие мысли. Вокруг нас звезды продолжали свой молчаливый путь, покорные, как огромное стадо. И минутами мне чудилось, что одна из этих звезд, самая нежная, самая блестящая, сбившись с пути, опустилась ко мне на плечо, чтобы заснуть.



### АРЛЕЗИАНКА \*).

Чтобы с моей мельницы попасть в деревню, нужно пройти мимо фермы, построенной возле дороги, в глубине большого двора, засаженного каркасами. Это—типичная для Прованса фермерская постройка, с красной черепицей, с широким темным фасадом, с неправильно расположенными отверстиями для окон, с флюгерком над чердаком, блоком, чтобы поднимать жернова, и несколькими стогами почернелого сена...

Почему этот дом производил на меня такое впечатление? Почему сердце сжималось у меня при виде этих запертых ворот? Я не сумел бы ответить на это, но этот дом обладал меня холодом. Очень уж тихо было кругом... Собаки не подымали на прохожего лай, цесарки убегали без крика... Внутри ни звука! Ничего не слышно, даже колокольчика мула... Если бы не белые за-

---

\*) Жительница города Арая, в Провансе.

навески на окнах, да вившийся над крышами дымок, можно было бы подумать, что в доме не живут.

Вчера в полдень я возвращался из деревни. Чтобы укрыться от солнца, я шел вдоль стены фермы, в тени каркасов... На дороге, против фермы, рабочие молча кидали на вез сено... Ворота фермы были открыты. Проходя, я заглянул туда и увидел в глубине двора высокого старика, совсем белого; он был одет в коротенькую куртку и рваные панталоны и сидел, облокотившись на каменный стол, опустив голову на руки...

Я остановился. Один из рабочих сказал мне:

— Тсс! Это хозяин... Он такой со времени несчастья с его сыном.

В эту минуту мимо нас прошла женщина с маленьким мальчиком; оба были одеты в черное, держали в руках толстые молитвенники с золотым обрезом. Они вошли на ферму.

Рабочий прибавил:

— ...Хозяйка и меньшей возвращаются с мессы. С тех пор, как их сын покончил с собой, они каждый день ходят в церковь... Ах, господин, какое горе! Отец до сих пор носит одежду покойного; никак не заставят его снять ее... Но-о, ты, кляча, трогай...

Воз загромыхал! Мне очень хотелось дослушать начатый рассказ, и я попросил у возницы разрешения сесть рядом с ним. И вот, на вер-



хушке воза с сеном, я услышал следующую скорбную историю.

\* \* \*

Его звали Жан. Это был изумительный малый двадцати лет, скромный, как девушка, степенный, с открытым лицом. Он был так красив, что женщины заглядывались на него. Но его мысли были заняты только одной,—маленькой арлезианкой в кружевах и бархате. Он встретил ее в Лис-д'Арль. На ферме сначала косо смотрели на эту связь. Девушка слыла кокеткой, и родители ее были не здешние. Но Жан непременно хотел жениться на этой арлезианке. Он говорил:

— Я умру, если мне не отдадут ее.

Пришлось уступить. Их решили поженить после жатвы. Раз, в воскресенье вечером, вся семья на дворе фермы кончала обед. Это было вроде предсвадебного пира. Невесты не было, но все время пили за ее здоровье... В дверях появился незнакомый человек и дрожащим голосом вызвал хозяина Эстева. Он хотел поговорить с ним наедине. Эстев встал и вышел на дорогу.

— Послушайте,—сказал ему незнакомец,—вы выбрали в жены вашему сыну негодную женщину. Она уже два года—моя любовница. То, что я сказал, я могу доказать: вот письма!.. Родители знают все и обещали ее мне. Но с того времени, как ваш сын стал искать ее руки, ни они,

ни сама красotka не хотят и слышать обо мне... Но я думаю, что после всего того, что было между нами, она не может стать женой другого.

— Хорошо,—сказал хозяин Эстев, просмотрев письма.—Пойдемте выпьем стаканчик мускатного вина.

Незнакомец отвечал:

— Благодарю! Тоска меня мучит сильнее жажды.

И он ушел.

Отец вернулся спокойный, сел на свое прежнее место, и обед весело продолжался.

В тот же вечер хозяин Эстев с сыном ушли на поле. Долго они оставались там. Когда они возвратились, мать все еще их поджидала.

— Жена,—сказал фермер, подведя к ней сына.—Обними его, он так несчастен...

\* \* \*

Жан не говорил более об арлезнянке. Но он все любил ее, любил даже сильнее, чем когда-либо, после того как ему показали ее в объятиях другого. Но гордость не позволяла ему что-нибудь сказать. Это и убило его, бедного мальчика!.. Иногда он проводил целые дни один, забившись в угол, не двигаясь с места, а то он весь уходил с какою-то яростью в работу на поле и работал за десятиерых поденщиков... Когда наступал вечер, он отправлялся по дороге в Арль и шел все вперед, пока не начинали вырисовы-



ваться на западном небе стройные колокольни города. Тогда он поворачивал назад. Никогда не шел дальше.

Видя, что всегда он такой печальный, всегда один, не знали на ферме, что делать. Боялись несчастья... Раз за столом мать, смотря на него полными слез глазами, сказала:

— Послушай, Жан, если ты все-таки хочешь, мы дадим тебе ее...

Отец, красный от стыда, опустил голову.

Жан сделал отрицательный жест и вышел...

С этого дня он изменил свой образ жизни, делал вид, что весел, чтобы успокоить родителей. Снова стал он показываться на балах, в кабаке, на праздниках. Во время подачи голосов в Февриеле он участвовал в фарандоле.

Отец говорил: «он излечился». Но мать все еще была в страхе и, больше чем когда-нибудь, наблюдала за сыном. Жан спал вместе с младшим братом, рядом с помещением, где разводили шелковичных червей. Бедная старушка перенесла свою постель поближе к их комнате... Надо, ведь, ей присмотреть ночью за шелковичными червями!..

Настал праздник святого Ильи, покровителя фермеров. На ферме веселье. Вино лилось рекой... Затем пошли шутихи, ракеты; все деревья были увешены разноцветными фонариками... Да здравствует святой Илья!.. Плясали до упаду.

Меньшой прожег свою новую блузу. Даже Жан повидимому, был весел. Он упрашивал потанцевать свою мать; бедная женщина плакала от счастья.

В полночь отправились спать. Всем надо было выспаться... Жан не спал. Потом брат рассказывал, что всю ночь он проплакал... Да, должен вам сказать, тяжело ему было...

\* \* \*

Назавтра, едва рассвело, мать услышала, как кто-то быстро пробежал по ее комнате. Точно предчувствие дрогнуло в ней.

— Это ты, Жан?

Жан не ответил. Он был уже на лестнице. Мать быстро встала.

— Куда ты, Жан?

Он поднялся на чердак. Она за ним.

— Сын мой, умоляю тебя!

Он затворил дверь и заложил запор.

— Жан, мой Жан, ответь мне! Что ты хочешь делать?

Старческими дрожащими руками ищет она щеколду... Раскрывается окно, шум падающего на каменные плиты двора тела,—и все кончено.

Бедный мальчик решил: «Я слишком люблю ее.. Я ухожу...» О, как ничтожны наши сердца! Почему так устроено, что презрение не может убить любви!..



В это утро в деревне все спрашивали, что за крики доносились оттуда, со стороны фермы Эстева...

То заливалась слезами мать, обхватив руками мертвое тело сына, лежавшего на каменном столе, покрытом росой и кровью.



### МУЛ ПАПЫ.

Из всех красивых поговорок, присказок и пословиц, которыми наши провансальские крестьяне пересыпают свою речь, я не знаю более образной и более оригинальной, чем следующая. На пятнадцать верст вокруг моей мельницы, когда разговор заходит о каком-нибудь злопамятном, мстительном человеке,—непреренно говорят: «Этот человек! Берегитесь его; он,—как папский мул, который семь лет приберегает удар ногой».

Я долго доискивался, откуда могла взаться эта поговорка, и что это за папский мул и за удар, который он приберегал семь лет. Но никто здесь не мог мне дать никаких указаний. Даже сам Франсэ Мамаи, мой дудочник. А он знает все провансальские легенды. Как и я, Франсэ думает, что тут скрывается какое-нибудь старинное авиньонское предание; но он никогда не слышал о нем иначе, как в этой поговорке.

— Вы отыщете это только в библиотеке «Об-

щества кузнечиков» \*),—сказал мне со смехом старый дудочник.

Эта мысль показалась мне удачною. Библиотека—по соседству со мной. И я заперся в ней на целую неделю.

Это—замечательная библиотека, удивительно подобранная. Для поэтов она открыта день и ночь. В ней прислуживают маленькие библиотекарки с цимбалами и без умолка играют. Я провел там несколько очаровательных дней и через неделю изысканий,—лежа на спине,—я, наконец, нашел то, что искал, нашел историю моего мула и того знаменитого удара, который он приберегал семь лет. Сказка эта—очень красивая, хотя и немного наивная. Постараюсь передать ее вам так, как прочел вчера утром в одном ветхом манускрипте, от которого так хорошо пахло лавандой, а вместо закладок были в нем длинные паутины.

\* \* \*

Кто не видал Авиньона \*\*), во времена пап, тот ничего не видал. Никогда еще не было города, равного ему по веселью, жизни, оживлению, веренищам празднеств. С утра до вечера тянулись процессии, паломники. Улицы были засыпаны

---

\*) „Общество кузнечиков“ было основано провансальскими поэтами с целью возрождения местного наречия.

\*\*) Город на юге Франции. В 14 веке там жили папы.



цветами, задрапированы ткаными коврами. По Роне то и дело прибывали кардиналы с развевающимися знаменами на разукрашенных галерах. Воины папы по-латыни распевали на площадях, шумели трещотки собиравших милостыню братьев... Из домов, которые лепились вокруг папского дворца, как пчелы вокруг улья, раздавалось звяканье спиц, которые плели кружево; шумели челноки, ткавшие парчу для церковных облачений; ударили молоточки, чеканя церковные сосуды; настраивались органы. А над всем этим — звон колоколов, и всегда несколько тамбуринов заливалось внизу, у моста. Потому что, когда весело человеку, он должен танцевать, должен танцевать. А так как в те времена улицы были очень тесны для Фарандолы, то дудки и тамбурины выстраивались на Авиньонском мосту, на свежем ветерке с Роны — и день, и ночь там танцевали, танцевали. Счастливое время, счастливый город! Время аллебард, которыми не ранили, и тюрем, в которых давали вино. Народ не знал, что такое нужда и что такое война. Вот как умели папы управлять своим народом! И вот почему народ так сожалел о них.

\* \* \*

В особенности один был добрый старик. Звали его Бонифацием... О, сколько слез пролили в Авиньоне, когда он умер! Этот владыка был та-

кой тихий, такой ласковый. Как нежно улыбался он с высоты своего мула! А когда вы проходили мимо него,—будь вы мальчик из москательной лавочки или почетный городской судья,—он так почтительно благославлял вас. Настоящий папа из Ивето, но из Ивето Провансальского. В смехе что-то тонкое, на берегу всегда стебелек майорана.

У этого доброго старика был маленький виноградник, посаженный им самим среди мирт Шато-Нефа, в трех верстах от Авиньона. Каждое воскресенье, после вечерни, достопочтенный муж отправлялся его навестить. Когда он приходил туда, наверх, он садился под открытым солнцем; возле него стоял его мул, а кругом, прислонившись к стволам деревьев, рассаживались его кардиналы. Он приказывал открыть флакон своего вина—этого великолепного рубинового вина, которое с тех пор и носит название Шато-Неф-де-Пап. Он пил его маленькими глотками и нежными глазами оглядывал свой виноградник. Потом, когда бутылка была уже пуста, и день начинал угасать, он возвращался навеселе в город, в сопровождении всей своей свиты. Когда он проезжал среди тамбуринов и хороводов на Авиньонском мосту, его мул, увлеченный музыкой, начинал мерно подпрыгивать, а сам папа начинал в такт танцев покачивать своим беретом. Кардиналы были скандализваны, но весь народ толь-



ко и повторял: «Ах, какой добрый владыка! Ах, какой славный папа!»

\* \* \*

После виноградника в Шато-Неф папа всего более на свете любил своего мула. Добряк был в восхищении от животного. Каждый вечер, прежде чем лечь спать, он осматривал, хорошо ли заперта конюшня, всего ли вдоволь в его кормушке. Он никогда не вставал из-за стола, прежде чем тут же, на его глазах, не приготовят в большой чашке питья из вина по-французски, с массой сахара и благовонных веществ. И он сам стносил его мулу, несмотря на замечания своих кардиналов... Надо, однако, сказать, что мул стоил этих забот. Это был великолепный черный мул в рыжих пятнышках, с твердым и верным шагом, с блестящей шерстью, широким, полным крупом. Он гордо нес свою маленькую сухую голову, убранную помпонами, бантиками, серебряными бубенчиками и кисточками. К тому же он был смирен, как ангел с кротким взглядом, а два длинных и всегда двигавшихся уха придавали ему особенно добрый вид. Весь Авиньон относился к нему с уважением, и когда он появлялся на улицах, не знали, как его и приветствовать. Ведь каждый понимал, что это был наилучший способ заслужить расположение при дворе, и что этот мул папы, несмотря на такой наивный

вид, благодетельствовал уже не одного человека. Лучшее тому доказательство—Тистэ Веден и его чудесное приключение.

Этот Тистэ Веден, в сущности, был просто шалопай; и его отец, Гюн Веден, резчик по металлу, был вынужден прогнать его, так как Тистэ ничего не хотел делать и только портил учеников. В продолжение шести месяцев можно было видеть его блузу во всех канавах Авиньона, но главным образом, около папского дворца. Этот плут уже давно подумывал о папском муле, и вы сейчас увидите, какую хитрую затеял он проделку. Однажды его святейшество прогуливался совершенно один на своем муле вдоль укреплений. И вот, мой Тистэ подсакивает к нему и, сложив руки, с видом восхищения восклицает:

— Ах, Боже мой! Великий святой Отец! Что за прелесть ваш мул!.. Позвольте мне на него немножко посмотреть... О, ваше святейшество, что за красота этот мул!.. У германского императора нет такого!

И он стал гладить мула и нежно разговаривать с ним, точно с барышней.

— Подойдите ко мне, мой драгоценный, мое сокровище, моя жемчужина!..

Добрый папа был очень расстроган и подумал про себя:

«Какой славный мальчуган!.. Как он ласков с моим мулом!..»



А знаете, что случилось наавтра? Тистэ Веден сменил свою старую желтую блузу на красивый стыхарь в кружевах, на короткую шелковую лиловую мантию, на башмаки с пряжками и попал на службу к папе, куда до него принимались только сыновья знатных особ и племянники кардиналов... Вот что значит интрига!.. Но Тистэ этим не удовольствовался. Раз уже этому плуту удалось пробраться к папе, он решил и дальше вести ту же игру, которая так хорошо ему удалась. Дерзкий со всеми, он обнаруживал необыкновенное внимание и предупредительность только к мулу. Всегда его можно было встретить на дворцовом дворе с горстью овса или с охапкой сладкой травы; он потряхивал травой, а сам поглядывал на балкон святого отца, как будто говоря: «ну-ка! для кого это?» И кончилось тем, что добрый папа, почувствовав себя уж очень состарившимся, решил передать Тистэ все хлопоты по наблюдению за конюшней; он же должен был и относить мулу его питье из вина по-французски, к великому неудовольствию кардиналов.

\* \* \*

Мула также это не радовало. Теперь, ко времени, когда приносили вино, сюда приходили пять или шесть маленьких прислужников папы и быстро садились на солому в своих кружевных ман-

тиях. Через некоторое время вкусный, теплый запах жженого сахара и ароматных веществ наполнял конюшни; появлялся Тистэ Веден: он бережно нес чашу с вином по-французски. Для бедного животного начиналась пытка.

У них хватало жестокости подносить к самой кормушке это благоухающее вино, которое мул так любил, от которого разливалась такая теплота по всему его телу и словно крылья выросли; давали ему понюхать вино, а потом, когда у него уж раздувались ноздри,—искрометный розовый напиток исчезал в глотках этих сорванцов... И они не только воровали у него вино. Когда они напивались, они становились точно чертянта!.. Один дернет его за ухо, другой за хвост. Жике садился к нему на спину, Белюге примерял ему свой берет. И ни один из этих мальчишек не подумал о том, что стоило мулу только стряхнуться, и одним ударом копыта он мог отправить их всех к Полярной Звезде, а то и дальше... Но нет! Недаром он—мул папы! Недаром он участвует и при благословениях, и при отпущениях грехов. Дети могут сколько угодно забавляться им: он не рассердится. Вот только на Тистэ Ведена, на него он был зол... Когда он чувствовал, что этот разбойник стоит сзади, у него чесалось копыто. И действительно было за что! Этот негодяй Тистэ проделывал с ним такие штуки! Ко-



гда, он напивался, ему приходили в голову такие жестокие выдумки!..

Однажды ему взбрело на ум верхом на муле взобраться на колоколенку на самый верх, под самую крышу дворца! То, что я сейчас рассказываю вам,—не сказка. Это видели двести тысяч провансальцев. Представьте себе страх несчастного мула, когда он, целый час прокружившись в темноте по улиткообразной лестнице и вкарабкавшись, не знаю уж по скольким ступеням, очутился вдруг на залитой светом площадке и с высоты тысячи фут увидал весь волшебный Авиньон: бараки на базаре казались ему не более ореховой скорлупы; папские солдаты стояли у казармы, точно красные муравьи; а там, на серебряной паутине висел микроскопический мостик, на котором танцевали, танцевали.

\* \* \*

Бедное животное! Какой ужас! От криков мула все окна во дворце задрожали.

— Что с ним случилось? Что с ним случилось?—воскликнул добрый папа и поспешно вышел на балкон.

Тистэ Веден был уже на дворе, притворился, будто плачет и готов рвать на себе волосы.

— Ах, великий святой отец, что случилось!.. Ваш мул... Боже мой, что теперь с нами будет? Ваш мул взобрался на колоколенку.

— Совершенно один???

— Да, великий святой отец, совершенно один... Вот посмотрите туда, наверх... Видите, вон торчат кончики его ушей?.. Точно две ласточки....

— Милосердный Бог,—сказал бедный папа, подняв кверху глаза...—Но ведь он с ума сошел! Ведь он разобьется... Да слезешь ли ты, несчастный!

Чорт возьми! Он только того и хочет, чтобы слезть оттуда... но как? О лестнице нечего было и думать: влезть—еще туда-сюда; ну, а слезть,—да он сто раз сломает себе ноги... И несчастный мул стоял в отчаянии. Он вертелся по площадке, а в его широко открытых глазах все ходило кругом. Он думал о Тистэ Велене:

«Ах, разбойник! Только бы мне слезть... Уж угощу же я тебя завтра утром копытом!»

Эта мысль об ударе, которым он угостит Тистэ, несколько приободрила его... Наконец, его удалось снять... Это была целая процедура. Понадобились лебедки, веревки, носилки. И вы подумайте, какое унижение было для мула папы видеть себя подвешенным на такой высоте, болтающимся в воздухе ногами, точно майский жук на ниточке. И весь Авиньон смотрел на это!

Несчастное животное не могло заснуть всю ночь. Ему все мерещилось, что оно кружит на этой проклятой площадке, а снизу доносится смех из города. К тому же у него не выходил из го-



ловы этот бесстыжий Тистэ Веден, и он все обдумывал удар, которым собирался угостить его завтра утром. Ах, друзья мои! И что за удар! Пыль полетит до самого Памперигуста!.. А знаете ли, что делал Тистэ Веден, пока ему готовился этот великолепный прием в конюшне? Распевая песни, плыл он по Роне на папской галере и направлялся к неаполитанскому двору вместе с компанией знатных юношей, которых город ежегодно отправлял к королеве Жанне для изощрения в дипломатии и изящных манерах. Тистэ не принадлежал к знати, но папа хотел вознаградить его за те заботы, которыми он окружал его мула, и, в особенности, за то усердие, какое он проявил в день спасения животного.

Как разочарован был на завтра мул.

«Ах, разбойник! Он, видно, что-то предчувствовал!—думал мул, сердито потряхивая бубенчиками...—Ну, все равно, уж постой! Не миновать тебе этого удара... я приберегу его для тебя».

И он приберег.

После отъезда Тистэ, для мула папы опять началась прежняя спокойная жизнь, пошли прежние удовольствия. Уже не было видно в конюшне ни Кикэ, ни Белюгэ. Вернулись славные дни с вином по-французски, а вместе с ним вернулось и хорошее расположение духа, и хороший сон, и веселая припрыжка при звуках гавота, когда он

проходил по Авиньонскому мосту. Однако, после приключения с ним, в городе стали относиться к нему несколько холоднее. Когда он шел, начинали шушукаться. Люди пожилые покачивали головой, а дети смеялись, указывая на колокольню. И сам добрый папа уже не относился с прежним доверием к своему другу. Когда по воскресеньям он возвращался из своего виноградника и собирался немного заснуть на спине мула, его тревожила все та же мысль: «А вдруг я проснусь там, наверху, на площадке!» Мул чувствовал это и страдал, но сказать ничего не мог. Только когда в его присутствии произносилось имя Тистэ Ведена, длинные уши вздрагивали, и он, тихо посмеиваясь, начинал оттачивать о мостовую подковы на своих копытах...

Так прошло семь лет. В конце седьмого года вернулся из Неаполя Тистэ Веден. Время пребывания его там еще не истекло, но он узнал, что в Авиньоне внезапно скончался первый изготовитель горчицы для папы. Место это показалось ему тепленьким и он поспешил возвратиться, чтобы выступить в числе соискателей на эту должность.

Когда этот каверзник Веден вошел в зал дворца, святой отец едва узнал его: так он вырос, возмужал. Впрочем, надо сказать, что добрый папа уже совсем состарился и плохо стал видеть без очков.



Но Тистэ не растерялся.

— Как, великий святой отец! Вы меня не узнаете?.. Это я, Тистэ Веден...

— Веден?

— Ну да, помните... который носил вино вашему мулу.

— Ах, да... да... припоминаю... Славный мальчуган этот Тистэ Веден... Что же теперь он просит у нас?..

— О, пустяки, великий святой отец... Я бы хотел у вас попросить... Кстати, ваш мул все еще у вас? Он здоров?.. А, тем лучше!.. Я бы хотел попросить у вас место первого горчичника, который только что умер.

— Первый горчичник, ты?.. Но ведь ты очень молод. Сколько тебе лет?

— Двадцать лет и два месяца, святейший папа... Ровно на пять лет старше вашего мула. Что за прелесть это животное! Если бы вы знали, до чего я любил этого мула, как стосковался по нему в Италии. Разве вы не позволите мне взглянуть на него?

— Как же, дитя мое? Ты его увидишь!—сказал добрый папа, весь растроганный.—И вот что, ты так любишь это славное животное, я не хочу более, чтобы ты жил вдали от него. С сегодняшнего дня я приближаю тебя к своей особе и делаю тебя первым горчичиком... Кардиналы мои

поднимут крик, но тем хуже для них. Я уж к этому привык... Завтра, когда мы будем возвращаться с вечерни, подойди к нам. В присутствии нашего капитула мы возложим на тебя орденские знаки, соответствующие твоему чину, а затем... я возьму тебя с собой поглядеть на мула, и мы втроем отправимся на виноградник... Хе, хе! Теперь ступай!

Мне нечего говорить вам о том, с каким довольным видом вышел Тистэ Ведын из большого зала, с каким нетерпением стал он ожидать завтрашней церемонии. Однако, во дворце был еще кто-то еще более счастливый, еще более нетерпеливый: это был мул. С момента возвращения Ведына до вечерни следующего дня он не переставал набивать себя овсом, чтобы набраться силы, и все время бил задними ногами об стену. Животное тоже готовилось к церемонии.

И вот назавтра, как только вечерняя служба окончилась, Тистэ Ведын пришел на двор папского дворца. Все высшее духовенство было налицо: кардиналы в красных мантиях, адвокат дьявола в черной мантии, настоятели монастырей в их маленьких митрах, старосты церкви святого Агрико, а также низшее духовенство, папские солдаты в парадной форме, три братства кающихся, отшельники с горы Ванту с их суровыми лицами; сзади шел пономарь с колоколом в руках; обнаженные до пояса бичующиеся изуверы; риз-



ничие в цветных робах, как у судей,—все, все, до церковных служек, которые носят сосуды со святой водой, зажигают свечи, гасят их... Никто не был забыт... Ах, это была удивительная церемония посвящения! Колокола, петарды, солнце, музыка и заливавшиеся тамбурины, под звуки которых танцевали там на Авиньонском мосту.

Когда Веден появился среди собрания, его осанка, его радостное выражение вызвали шопот изумления. Это был красавец-провансалец, но только блондин, с длинными вьющимися волосами, с маленькой пушистой бородкой, точно завитки золоченых стружек, сыпавшиеся из-под ножа его отца. Ходили слухи, что эту белокурую бороду уже не раз перебирали пальчики королевы Жанны. И правда, у Ведена был такой победоносный вид и рассеянный взгляд баловня, которого любила королева... Чтобы оказать честь своему краю, Веден переменял на этот раз свой неаполитанский наряд на куртку с розовой каймой, как носят в Провансе; а на его шляпе развевалось длинное перо камаргийского ибиса.

Как только вошел он, первый горчичник, он сделал изящный поклон и направился к верхнему крыльцу, где его ожидал папа, чтобы возложить соответствующие чину орденские знаки: ложечку из желтого самшита и облачение шафранного цвета. Внизу, у лестницы, стоял мул в своей упряжи, приготовленный к поездке на виноград-

ник. Тистэ Веден, проходя мимо мула, нежно улыбнулся, остановился и раза два-три дружески похлопал его по спине, в то же время уголками глаз поглядывая, смотрит ли папа. Позиция была удачная... Мул собрался с силами и лягул:

— На, получай, разбойник! Семь лет я приберегал это для тебя!

И он отпустил ему такой ужасный удар, такой ужасный, что пыль полетела до Памперигуста. Точно ураган какой-то, в котором кружилось длинное перо ибиса,—все, что осталось от Тистэ Ведена.

Обыкновенно удары мула не бывают такими сокрушительными. Но это был мул папы; а к тому же, подумайте,—ведь он приберегал удар семь лет...

Лучшего примера клерикального злопамятства не найти.



### МАЯК В САНГВИНЕРЕ.

В эту ночь я не мог заснуть. Мистраль \*) бушевал, и гневные раскаты его зычного голоса не давали мне сомкнуть глаз до утра. Вся мельница трещала, тяжело размахивая своими изуродованными крыльями, которые, точно корабельные снасти, со свистом разрезали воздух. Черепицы

---

\*) Сухой ветер, сильный и холодный; часто дует на юге Франции зимою.



разбитой кровли уносились ветром. Вдалеке в темноте шумели и стонали густо покрывавшие косогор сосны. Можно было подумать, что находишься в открытом море...

Это так напомнило мне мои чудные бессонные ночи три года назад, когда я жил на маяке в Сангвинере, на корсиканском берегу, при входе в залив Аяччио.

Вот еще чудный уголок, отысканный мной, где можно помечтать, побыть в уединении.

Представьте себе красноватый, суровый с виду остров. На одном конце—маяк, на другом—старая генуэзская башня, в которой, в мое время, жил орел. Внизу, у самой воды—развалившийся лазарет, со всех сторон заросший травой. Далее—овраги, низкие заросли, высокие скалы, несколько диких коз, маленькие корсиканские лошадки с развевающейся по ветру гривой. Наконец, наверху, высоко-высоко, среди кружащих стай морских птиц—домик маяка с площадкой, выложенной белым камнем, по которой взад и вперед ходят сторожа; стрельчатая зеленая дверь, маленькая чугунная башенка, а над ней огромный фонарь из шлифованного стекла. Он ярко горит в солнце и отбрасывает свет даже днем... Таким вспомнился мне этот остров в ту ночь, когда я прислушивался к стону моих сосен. Сюда, на этот волшебный остров, я удалялся не раз, когда чувствовал потребность в широком просторе, потреб-

ность быть одному, и когда еще не было у меня моей мельницы.

Что я там делал?

Да то же, что делаю здесь; даже меньше. Когда не так яростно дул мистраль и трамонтана, я приходил к самому морю между двумя скалами; кругом меня носились морские чайки, черные дрозды и ласточки, и я просиживал тут весь день в каком-то очаровании, в приятной истоме, в которую приводит созерцание моря. Вам, вероятно, знакомо это тихое опьянение души? Ни о чем не думаешь, ни о чем не гредишь. Все существо вас покидает, куда-то отлетает, рассеивается. Кажешься себе несущейся над водой чайкой, пенистой струйкой, сверкающей на солнце между двух волн, белым дымком, что вьется над улаляющимся пароходом, маленьким судном, что идет под красным парусом на ловлю кораллов, водяной жемчужиной, клочком тумана — всем, только не самим собой... О, сколько чудных часов проводил я на этом острове, в состоянии какого-то полусна, небытия!..

В те дни, когда дул сильный ветер и не было возможности сидеть у воды, я забирался во двор лазарета, маленький, унылый дворик, пахнувший размарином и дикой полынью. И здесь, прислонившись к выступу старой стены, я тихо отдавался во власть смутной прелести запустения и печали, которые вместе с солнечными лучами веяли



над каменными углублениями, похожими на старинные могилы. Иногда раздавался стук двери... легкий прыжок в траве... Это приходила коза пощипать траву в защищенном от ветра уголке. Увидав меня, она останавливалась в изумлении, точно замирала, вся превратившись в созерцание, высоко поднимала свои рога и смотрела на меня своими детскими глазами.

Около пяти часов сторожевой рупор призывал меня к обеду. Я выбирал узенькую тропинку среди низкорослого леса, который тянулся почти отвесно над морем и медленно возвращался к маяку. На каждом шагу я оборачивался и любовался этим безбрежным простором воды и света, который, казалось, становился еще шире, по мере того, как я подымался кверху.

\* \* \*

Наверху было прелестно. Я, как сейчас, вижу великолепную столовую с широкими каменными плитами на полу и дубовыми украшениями по стенам, струящую пар уху, настесь открытую дверь, выходившую на белую террасу, и врывающийся в нее солнечный закат... Сторожа уже были там, ожидая меня, чтобы сесть за стол. Их было трое—марселец и два корсиканца. Все трое—низенькие, бородатые, у всех одинаково темнокрасные лица с облупившейся кожей; в одинаковых пелонах (плащах) из козьей шерсти, но со-

вершенно несхожие по своим наклонностям и характерам.

В том, какой образ жизни каждый из них вел, сейчас же сказывалось различие их рас. Марселец — предприимчивый, живой, всегда занятой, всегда в движении, — с утра до вечера рыскал по острову, то возился в саду, то ловил рыбу, то собирал яйца диких птиц, то забирался в заросли, чтобы подоить забредшую туда козу, то стряпал уху.

Корсиканцы, — те решительно ничем не занимались, когда были свободны от службы. Они смотрели на себя, как на чиновников, и все дни проводили в кухне, за бесконечными партиями в скопа, отрываясь только затем, чтобы с серьезным видом закурить свои трубки или ножницами мелко нарезать на ладони длинные листья зеленого табаку...

Впрочем, и марселец, и корсиканцы были добрые, простые, немудреные и бесконечно предупредительные к своему гостю люди, хотя, в сущности, этот гость должен был казаться им господином довольно-таки странным.

Подумайте! Забиться на этот маяк для своего удовольствия!.. А им-то дни кажутся такими долгими, они так счастливы, когда наступает их очередь отправиться на материк. В спокойное время это великое счастье выпадает им каждый месяц: десять дней на материке — за тридцать дней на



маяке. Таково положение. Но с наступлением зимы и в бурное время никакое положение не соблюдается. Дует ветер, волны бушуют, весь остров в белой морской пене, и сторожа от всего отрезаны на два-три месяца. Иногда им приходится быть в ужасном положении.

— Вот что со мной раз случилось,—рассказывал мне однажды за обедом старый Бартоли.— Вот, что случилось со мной, пять лет назад, когда раз зимой я сидел, вот как мы сейчас, за этим самым столом. В этот вечер нас было на маяке только двое—я да товарищ мой, которого звали Чеко... Другие были на материке: больны они были или в отпуску—не припомню... Мы преспокойно кончали обед... Вдруг мой товарищ перестал есть, с минуту смотрел на меня безумными глазами и—бац!—падает на этот стол руками вперед. Я подбежал к нему, начал тормошить его, зову:

— О, Че... Че...

Ни звука! Мертвый!.. Представляете вы себе этот ужас? Более часа я простоял около трупа, опенелый, весь дрожа. Вдруг я вспомнил: «А, маяк!» Не знаю, как вбежал я наверх, к фонарю, как зажег его. Уже стемнело. Настала ночь, какая ночь! И море, и ветер ревели не своими голосами. Каждую минуту мне казалось, будто кто-то зовет меня на лестнице... К тому же меня била лихорадка, мучила жажда. Но никакие силы не

могли бы заставить меня спуститься вниз... Уж очень я боялся мертвецов. Встаки, когда стало рассветать, я набрался храбрости. Перенес товарища на его постель, покрыл одеялом, прочитал коротенькую молитву,—потом стал давать тревожные сигналы...

К несчастью, море слишком разбушевалось. Сколько я ни звал—никто не являлся... И вот, я один на маяке со своим бедным Чеко, и Бог знает на сколько времени... Я рассчитывал продержаться его у себя, пока не подойдет корабль. Но спустя три дня уже не было никакой возможности... Что делать? Вынести его, похоронить? Но скала была слишком тверда. Да к тому же на острове столько воронья. Тяжело было отдать им христианина. Я решил опустить его в одно из каменных углублений в лазарете... Все послеобеденное время ушло у меня на это. И стоило же мне это сил!.. Вот и сейчас, когда случается в полночь проходить по той части острова, да еще начнет шуметь ветер,—мне все кажется, что на плечах у меня мертвец...

Бедный старый Бартоли! При одном воспоминании об этом капли пота выступали у него на лбу.

\* \* \*

Наши обеды проходили в беседах о маяке, о море, в рассказах о кораблекрушениях, о корси-



канских разбойниках. Затем, когда день клонился к вечеру, сторож, дежуривший первую смену, зажигал маленькую лампу, брал трубку, фляжку, толстый том Плутарха с красным обрезом— всю сангвинерскую библиотеку — и исчезал в задней комнате. Минуту спустя, по всему маяку раздавался грохот цепей, блоков, тяжелых гирь заводившихся часов.

Я выходил посидеть на террасе. Солнце уже было очень низко и все быстрее и быстрее опускалось в воду, увлекая за собой весь горизонт. Тянуло свежим ветерком. Остров казался фиолетовым. Недалеко от меня по небу тяжело неслась большая птица: это был орел с генуэзской башни. Он возвращался к себе... Понемногу с моря вставал туман. Скоро уже ничего нельзя было различить, кроме полосы пены, опоясавшей остров. Вдруг над моей головой зажегся огромный сноп мягкого света. Это засветили маяк. Светлый луч широкой полосой ложился на море, оставляя весь остров во мраке. Кругом была темная ночь. Только над моей головой лилась огромная волна света, едва бросая на меня свои отсветы. Дул холодный ветер. Приходилось войти в комнаты. Ощупью я затворял тяжелую дверь, опускал железные засовы. Ощупью поднимался по небольшой чугунной лестнице, и она дрожала и гудела от каждого шага. Я на верхушке маяка. Вот где было светло!

Представьте себе гигантскую лампу Карселя в шесть рядов фитилей, вокруг которых медленно вращаются наружные части фонаря, с огромными увеличительными стеклами. Когда я входил, меня ослепляло. От всех этих медных и оловянных частей, от всех этих рефлекторов из белого металла, выпуклых стеклянных стен, которые поворачивались на огромных голубоватых кругах, от этого переливавшегося ослепительного света — у меня, в первую минуту, кружилась голова.

Понемногу, однако, глаза привыкали, и я садился у самого основания лампы, рядом со столом, который, чтобы не заснуть, вслух читал своего Плутарха...

Кругом черная бездна. На узком балкончике вокруг фонаря ветер дует и ревет, как безумный. Маяк скрипит, море клокочет. Морские волны ударяются о выступы острова, точно пушечные выстрелы. Иногда словно стучит в окно чей-то невидимый палец. Это ударилась и разбила себе голову о стекло фонаря привлеченная светом как-то ночная птица. Внутри ярко горевшего и накалившегося фонаря слышится только потрескивание пламени, шум капающего масла, лязг наматывающейся цепи... А монотонный голос читает с молитвенным напевом жизнь Дмитрия Фалернского...





В полночь сторож вставал, в последний раз оглядывал свои съестильни, и мы спускались вниз. На лестнице нам встречался товарищ, шедший на вторую смену. Он поднимался, протирая глаза. Ему передавалась фляжка, Плутарх... Затем, прежде чем лечь в постель, мы на минуту входили в заднюю комнату, загроможденную цепями, тяжелыми гирями, оловянными сосудами, канатами. И здесь, при свете своей маленькой лампы, сторож записывал в большую маячную книгу, которая всегда лежала раскрытая:

Полночь. Море бурно. Шторм.  
Корабль в открытом море.



### АГОНИЯ \*) СЕМИЛЬЯНТЫ.

Так как мистраль заставил нас прошлой ночью перенестись на корсиканский берег, позвольте рассказать вам ужасную историю, случившуюся на море. Тамошние рыбаки часто о ней вспоминают, когда соберутся вечерком; мне случайно удалось узнать очень любопытные ее подробности.

Это было два или три года тому назад. Я хо-

---

\*) Предсмертная мука.

дил по Сардинскому морю вместе с семьёю или восемью матросами, таможенными надсмотрщиками. Тяжелое было путешествие для новичка! За весь март не было у нас ни одного хорошего дня. Восточный ветер с остервенением гнался за нами, и море не успокаивалось.

Раз вечером, когда мы убегали от бури, наше судно укрылось у входа в пролив Бонифаччо, среди группы маленьких островков... Вид их был далеко не привлекательный: огромные голые утёсы, населенные птицами, несколько кустов дикой полыни, заросли мастикового дерева; то тут, то там, в тине, — деревянные, начавшие уже гнить бруски. Но в такую ночь и эти зловещие скалы казались нам куда уютнее, чем рубка на нашем старом полупалубном судне, где волны гуляли, как у себя дома. И мы помирились на них.

Не успели мы высадиться, и матросы начали разводить огонь для ухи, как меня позвал шкипер и указал на невысокую каменную ограду, белевшую сквозь туман на конце острова...

— Пойдете на кладбище? — спросил он.

— Кладбище, шкипер Лионетти? Где же мы?

— На островах Лавецци. Здесь погребено шестьсот человек с Семильянты, на том самом месте, где десять лет тому назад погиб их фрегат... \*) Бедные! Не часто их тут навещают.

---

\*) Парусный корабль.



Раз уж мы здесь, нам следовало бы пойти поклониться их могилам.

— От всей души, шкипер.

\* \* \*

Какое оно печальное, это кладбище Семилетия!.. Я сейчас еще вижу его низкие стены, железную, тяжело отворяющуюся, заржавленную дверь, угрюмую часовню и сотни черных крестов, рассыпавшихся в траве... Ни одного венка из иммортелей, никакого сувенира. ничего!.. Бедные, всеми покинутые мертвецы! Как холодно им должно быть в этой случайной их могиле!

Несколько минут мы стояли, коленопреклоненные. Шкипер вслух читал молитву. Большие морские чайки, единственные стражи кладбища, кружили над нашими головами и сливали свой хриплый крик со стоном моря.

Кончив молитву, мы печально побрели к той части острова, где пристало наше судно. Без нас матросы не теряли даром времени. Под прикрытием скалы широко разгорелся костер; над ним дымился котелок. Все уселись в кружок, ногами к огню, и вскоре у каждого из нас стояла на коленях глиняная миска и два ломтя черного хлеба. Ужин прошел среди глубокого молчания: мы промокли, проголодались, да к тому же близости было кладбище... Но когда миски были

опорожнены, все закурили трубки и понемногу разговорились. Конечно, говорили о Семильянтах.

— Как это случилось?—спросил я у шкипера, задумчиво глядевшего на огонь. Голова его упала на руки.

— Как случилось?—повторил добрый Лионетти и тяжело вздохнул.—Увы, никто на свете не может сказать. Знаем мы лишь вот что: Семильянта, приняв на борт солдат, отправилась в Крым. Она вышла из Тулона накануне вечером, в дурную погоду. Ночью стало еще хуже. Ветер, дождь; море расходилось, как никогда... На утро ветер стих немного, но море продолжало бушевать. А тут еще этот проклятый туман: в четырех шагах не разглядишь огня в фонаре... Вы не можете себе вообразить, до чего коварны эти туманы. Но все бы еще ничего. Я думаю, что Семильянта еще утром потеряла руль. Туман, ведь, не Бог знает сколько держится. Чего бы капитана понесло сюда? Это был моряк опытный, мы все его знали. В продолжение трех лет он управлял дистанцией на Корсике \*) и знал свои берега так же хорошо, как и я; впрочем, ничего кроме этого я не знаю.

— А в котором часу, предполагают, погибла Семильянта?

---

\*) Остров на Средиземном море.



— Должно быть, в полдень; да, в самый полдень... Но, что поделаешь! Когда туман, на море и в полдень бывает не лучше, чем в темную, как волчья пасть, ночь... Один таможенный надсмотрщик-матрос рассказывал мне, что в этот день, так около половины двенадцатого, когда он вышел из своего домика привязать покрепче ставни, у него сорвало ветром фуражку, и он, рискуя, что и его самого снесет волной, пополз по всему берегу на четвереньках за шапкой. Вы сами понимаете, надсмотрщики — народ небогатый, а фуражка стоит не дешево. Вдруг он увидал, совсем близко от себя, как в тумане пронесся огромный корабль; паруса на нем были сорваны, ветер гнал его по направлению к островам Лавенци. Корабль мчался с такой отчаянной быстротой, что надсмотрщик не успел его хорошенько разглядеть. Все заставляет предполагать, однако, что это и была Семильянта, так как спустя подчас пастух на островах услышал, как со стороны скал... Да, вот, кстати, и этот самый пастух, о котором я вам начал говорить... Он сам расскажет вам... Здравствуй, Паломбо!.. Садись к нам, погрейся... не бойся.

Человек в капюшоне, некоторое время уже бродивший около костра, — я принимал его за кого-нибудь из нашего экипажа, так как и не подозревал, что на острове существует пастух, — опасно подошел к нам.

Это был старик, весь в проказе, почти полный идиот. Было страшно смотреть на его огромные, раздутые, не знаю от какой болезни, губы. С большим трудом растолковали ему, в чем дело. Тогда, оттопырив пальцем свою больную губу, старик рассказал нам, что, действительно, в означенный день, около полудня, он услышал из своей хижины страшный удар о скалы. Так как остров был совершенно залит водой, то он не мог выйти и только на следующий день, едва отворив дверь, увидел, что весь берег завален обломками и выкинутыми морем трупами. Испугавшись, он бросился бежать к своей лодке и поспешил в Бонифачио \*) за людьми.

\* \* \*

Утомленный таким долгим для него рассказом, пастух сел. Шкипер продолжал свой рассказ:

— Да, вот этот несчастный старик и сообщил нам о случившемся. От страха он был точно сумасшедший. С тех пор рассудок у него помутился. Да и было от чего... Вообразите себе шестьсот трупов. Все это перемешалось с кусками дерева, обрывками парусов... Бедная Семильянта!.. Море растрепало ее и превратило в щепы, так что из всего, что осталось, па-

---

\*) Город на Корсике.



стух Паломбо еле-эле набрал на забор вокруг своей лачужки... О людях и говорить нечего: все были изувечены, изуродованы. Страшно было смотреть на них. Отдельными кучками лежали они друг на друге... Мы нашли капитана; он был в парадной форме; полковой священник был в епитрахили; в одном углу, между двух скал, лежал маленький юнга: глаза у него были открыты... казалось, он еще жил. Увы, нет! Я уже сказал вам,—ни один не уцелел...

Шкипер прервал свой рассказ.

— Нарди, смотри! — крикнул он. — Костер гаснет.

Нарди бросил два-три куска смолистой доски. Дерево быстро загорелось, и Лионетти продолжал:

— Но вот что самое печальное во всей этой истории. За три недели до катастрофы маленький корвет, как и Семильянта, отправлявшийся в Крым, погиб при тех же условиях, почти на том же самом месте; только на этот раз нам удалось спасти экипаж и двадцать человек обозной прислуги, которые находились на борту... Вы думаете, что этих несчастных так и оставили в покое: Их отправили в Бонифаччо, и они оставались у нас два дня... А как только они поуспокоились, пришли немного в себя,—будьте здоровы, в добрый путь! Они вернулись

в Тулон \*), а спустя несколько времени их снова отправили в Крым!.. Угадайте, на каком фрегате?.. На Семильянте!.. И мы нашли всех их, всех двадцать, среди других трупов, вот на этом самом месте... Я своими руками поднял одного красивого бригадира, с тонкими усами. Это был парижский шеголь. Я часто, бывало, приводил его к себе ночевать, и до чего он нас смешил тогда своими рассказами... И вдруг увидеть его здесь — сердце разрывалось. О, Святая Матерь!

Добрый Лионетти был сильно расстроен... Он стряхнул пепел с трубки и поплелся к себе в хижину, пожелав мне доброй ночи... Некоторое время солдаты еще продолжали беседовать вполголоса. Но вот одна за другой погасли трубки... Все смолкли... Ушел и старый пастух. Я остался один, со своими думами, среди уснувшего экипажа.

\* \* \*

Под впечатлением печального рассказа, который я только что прослушал, я попробовал мысленно представить себе этот несчастный погибший фрегат, его последние мгновения, свидетелями которых были лишь морские чайки. Некоторые подробности, так запечатлевшиеся в мо-

---

\*) Портовый город Франции на Средиземном море.



ем воображении — капитан в парадной форме, эпитрахиль священника, двадцать солдат обозной прислуги — помогли мне восстановить всю картину этой драмы...

Я вижу перед своими глазами этот фрегат. Вот он отправляется ночью из Тулона... Выходит из гавани... Бурное море, отчаянный ветер; но капитан — опытный моряк, и все на борту спокойны... Утром над морем поднимается туман. Начинают немного беспокоиться. Весь экипаж на палубе. Капитан не покидает своих мостков... В междупалубном пространстве, где находятся солдаты, — непроглядная темь, духота. Некоторые больны и лежат на своих ранцах. Корабль страшно качает: стоять на ногах невозможно. Ухватившись за скамьи, группами сидят на полу и беседуют. Чтоб было слышно, приходится громко кричать. В душу некоторых уже прокрадывается страх... Послушайте-ка, в этих местах кораблекрушения бывают часто; обозные солдаты здесь, они могут это подтвердить. В том, что они рассказывают, мало успокоительного. В особенности от шуточек бригадира, этого парижанина, который без умолку болтает, прямо мороз подирает по коже.

— Кораблекрушение!.. А ведь презабавная штука — кораблекрушение. Примем ледяную ванну, а потом нас отправят в Бонифачио. Там

у шкипера Лионетти угостят черными дроздами, — и делу конец.

И обозные солдаты начинали смеяться.

Вдруг раздается треск... Что такое, что такое? Что случилось?..

— Руль сорвало, — говорит какой-то матрос, весь мокрый, пробегая по палубе.

— Счастливого пути! — кричит этот неугомонный бригадир. Но это ни в ком уже не вызывает смеха.

На палубе поднимается невообразимая суматоха. Из-за тумана друг друга не видно. Матросы с испуганными лицами, ощупью снуют взад и вперед. Нет руля!.. Невозможно управлять без руля... Семильянта ложится в дрейф, несется, как ветер... В этот именно момент и видел ее матрос с острова. Время — половина двенадцатого. Впереди фрегата слышится точно выстрел из пушки... Буруны, буруны!.. Конечно, нет более надежды, фрегат несется прямо на скалы... Капитан спускается в свою каюту... Спустя немного времени, он возвращается на свое место. Он в парадной форме... Он хочет красиво встретить смерть.

В междупалубном пространстве солдаты беспокойно и молча глядят друг на друга... Больные пробуют встать... Маленький бригадир уже не смеется... В эту минуту отворяется дверь, и



на пороге появляется священник в своей эпитрахили.

— На колени, дети мои!

Все повинуются. Отчетливым, громким голосом священник начинает молитву умирающих.

Вдруг страшный удар, крики, один необъятный крик, чьи-то протягивающиеся, цепляющиеся руки, обезумевшие взгляды, в которых проносятся молнией видение смерти...

— Помилуй! Спаси!..

Так провел я всю ночь. Я не мог заснуть, и вставала предо мной из тьмы десятилетия душа бедного фрегата, обломки которого были вокруг меня...

Где-то далеко в проливе гневно шумела буря. Под натиском набегавшего шквала гнулось пламя костра. И я слышал, как у подножия скал плескалось наше судно, как скрипели державшие его канаты.



### ТАМОЖЕННЫЕ НАДСМОТРИЩИКИ.

Судно «Эмилия» из Порто-Веккио, на борту которого я совершил это печальное путешествие к островам Лавенци,—старая таможенная шлюпка, почти неприкрытая. Для защиты от ветра, от волн, от дождя существовала лишь узкая просмоленная рубка, где едва помещались стол и

две койки. И надо было видеть, что представляли из себя наши матросы в дурную погоду! С их лица бежала вода, от их промокших курток подымался пар, как из котла с белым; в зимнюю стужу эти несчастные проводили целые дни, даже целые ночи, на мокрых скамьях, дрожа от нездоровой сырости: на борту не было возможности развести огонь, а до берега часто трудно было добраться... Но все-таки ни один из этих людей не жаловался. В самую бурную погоду я всегда видел их в том же благодушном настроении, в хорошем расположении духа. Но какая печальная жизнь у этих таможенных матросов!

Они почти все женатые; их жены и дети остаются на берегу, а им по целым месяцам приходится находиться вдали от них, лавировать среди опасных мест. Питаются они одним только заплесневелым хлебом и диким луком. Ни вина, ни мяса: мясо и вино стоят дорого, а жалованья они получают лишь пятьсот франков \*) в год! Пятьсот франков в год! Вы поймете теперь, почему в их лачугах такой мрак, почему их дети должны ходить босыми... Но им все ничего; все эти люди кажутся довольными. За рубкой помещался большой бак с дождевой водой. Отсюда экипаж брал воду для питья, и мне припоминается, как с последним глотком каждый из этих бедня-

---

\*) Франк—37½ коп. (до войны).



ков с возгласами удовлетворения и выражением блаженного состояния опрокидывал свою кружку. Это было и комично и вместе так трогательно.

Но самым веселым, самым довольным был маленький бонифачианец, загорелый, коренастый, которого звали Паломбо. Он то и дело распевал песни, даже в самую бурную погоду. Когда волны набегали все грознее, и мрачные, низко несшиеся градовые тучи заволакивали небо, и все, насторожившись, ожидали удара ветра, — среди глубокой тишины и об'яввшего весь борт беспокойства, раздавался еселый голос Паломбо:

Эх, барин вы мой,  
Нам до чести ль такой?  
Ведь Лизетта скромна-а  
Дочь деревни она-а...

Как ни ревел шквал и ни скрипели снасти, как ни качало, ни заливало судно, — песнь матроса лилась своим чередом, уносясь, как чайка, на гребне волны. По временам ветер начинал аккомпанировать слишком громко, и слов уже нельзя было разобрать. Но в промежутках между двумя шквалами, среди гребней отбегавшей волны, доносился все повторявшийся припев:

Ведь Лизетта скромна-а...  
Дочь деревни она-а...

Только один раз, когда дул очень уж резкий ветер и лило, как из ведра, я его не слышал. Это было так необычно, что я, высунув голову из рубки, спросил:

— Эй, Паломбо! Что же не слышно песенки?

Паломбо ничего не ответил. Он неподвижно лежал на своей скамейке. Я подошел к нему. Зубы стучали; все тело дрожало в лихорадке.

— У него пунтура, — грустно сказали мне его товарищи.

То, что они называют пунтура, — это колотье в боку, воспаление легочной плевы. Свинцовое небо, судно, заливаемое водой, этот белыга в лихорадке, закутанный в старый гуттаперчевый плащ, который блестел от дождя, как тюленья кожа, — никогда не видал я ничего более мрачного. Скоро от холода, от ветра, от качки его боли усилились. Он начал бредить. Надо было причаливать.

После долгих усилий мы вошли к вечеру в небольшую мелководную тихую гавань; ее немного оживляли лишь несколько круживших в воздухе птиц. Вдоль берега тянулись высокие, отвесные скалы, непроходимые заросли кустарников, во всякое время года такого темно-зеленого цвета. Внизу, у самой воды, стоял небольшой белый домик с серыми ставнями; это была таможенная станция. Среди дикого запустения это правительственное здание, с номерком, точно ко-



карда на военной фуражке, казалось чем-то зло-вещим. Здесь высадили несчастного Паломбо. Печальный приют для больного! Живший на станции матрос с своей женой и детьми только что собирался обедать около камина. У них у всех были изнуренные желтые лица, расширенные глаза, обведенные болезненной синевой. Мать, молодая еще женщина, с грудным ребенком на руках, вся дрожала от холода.

— Это ужасная таможня, — совсем тихо сказал мне инспектор. — Каждые два года мы принуждены бываем сменять наших матросов. Болотная лихорадка так и косит...

Положение больного стало таково, что надо было позаботиться о докторе. Но его не было до Сартена, то-есть верст шесть или восемь оттуда. Как быть? О наших матросах нечего было и думать; слишком далеко было посылать кого-либо из этих ребят. Тогда женщина, высунувшись из двери, крикнула:

— Секко!.. Секко!..

И мы увидели огромного коренастого малого в коричневом вязаном колпаке, в куртке из козьего меха. Он казался типичным браконьером, бандитом. Я уже ранее обратил на него внимание, когда мы сошли с судна: он сидел у двери, с красной трубкой в зубах и ружьем между колен; но он исчез, как только мы приблизились. Быть может, он думал, что с нами прибыли жан-

дармы. Когда он вошел, жена матроса немного покраснела.

— Это мой двоюродный брат,—сказала она нам.—Этот-то уже не потеряется в зарослях.

Затем она стала что-то тихо говорить ему, указывая на больного. Человек этот, не отвечая, кивнул головой, вышел, свистнул своей собаке и, закинув за спину ружье, отправился в путь, огромными прыжками перепрыгивая со скалы на скалу.

В это время дети, на которых, повидимому, присутствие инспектора наводило страх, доканчивали свой обед из каштанов, брусничного (белый сыр) и воды. Ничего, кроме воды, не было на столе. А как бы хорошо было дать теперь этим детям по рюмке вина. О, нищета! Наконец, мать отнесла их наверх и уложила спать; отец зажег свой большой фонарь и пошел осматривать берег. Мы остались у камина с нашим больным. Лежа на плохонькой кровати, он вздрагивал всем телом, как при ударах набегавших волн в открытом море. Чтобы несколько успокоить его пунтуру, мы нагревали обломки дерева, кирпичи и прикладывали ему к боку. Раз или два, когда я подходил к его постели, бедняга узнавал меня и в знак благодарности протягивал свою руку, эту огромную, корявую руку, горевшую, как те кирпичики, которые мы вынимали из огня...



Грустный вечер! Погода стала еще хуже. Раздавался грохот, раскаты, вой вспенившихся волн, битва скал с морем. Время от времени с моря набегал ветер, врываясь в бухту и ударял о наш домик. Это было заметно по пламени: оно вдруг разrostалось и сразу освещало угрюмые лица матросов, стоявших вокруг камина и глядевших на огонь с выражением того же спокойствия, которое вырабатывается постоянным созерцанием безбрежного моря и далекого горизонта. Иногда Паломбо начинал жалобно стонать. Тогда глаза всех устремлялись в темный угол, где почти умирал бедный товарищ, вдали от родных, без всякой помощи. Их груди подымались и слышались тяжелые вздохи. И это все, что могло исторгнуть у этих терпеливых и безропотных работников моря сознание их горькой доли. Ни возмущения, ни стачек! Вздох,—и ничего больше! Но нет, я ошибаюсь. Проходя мимо меня с охапкой дров для камина, один из них тихо, раздирающим душу голосом, сказал:

— Видите... иногда много скорби в нашем ремесле!..

---

## СВЯЩЕННИК ИЗ КЮКЮНЬЯНА.

Каждый год, к Сретению, провансальские поэты, издают в Авиньоне маленькую изящную книжечку, всю состоящую из красивых стихов и забавных сказок. Я только что получил такую книжку этого года и нашел в ней очаровательную старинную сказку, которую попробую для вас перевести, немного сократив ее... Парижане! на этот раз перед вами раскроется настоящий провансальский цветок. Вдыхайте его аромат.

\* \* \*

Аббат Мартен был священником в... Кюкюньяне.

Добродушный, как хлеб, откровенный, как золото, он, как отец, любил своих кюкюньянцев. Его Кюкюньян был для него земным раем, если бы только кюкюньянцы хоть немного радовали его. Но увы! В его исповедальне пауки уже стали вить паутину, а в радостные дни Пасхи Св. Дары и не приходилось вынимать из дароносицы. Сердце бедного пастыря сокрушалось, и он просил Бога сжалиться над ним и не дать ему умереть, прежде чем он не обратит свое рассеявшееся стадо.

Вы сейчас увидите, что Бог услышал его.



Раз в воскресенье, после чтения Евангелия, Мартен взошел на кафедру.

\* \* \*

— Братья мои,—произнес он,—хотите верить, хотите—нет; прошлой ночью я, недостойный грешник, очутился у врат рая.

Я постучал. Святой Петр открыл мне.

— А это вы, мой милый Мартен,—сказал он.—Какой добрый ветер занес вас? Чем могу вам служить?

— О, святой Петр, в ваших руках—и главная книга, и ключ. Скажите мне,—простите за любопытство,—сколько у вас в раю кюкюньянцев?

— У меня нет от вас никаких секретов, Мартен. Присаживайтесь, мы вместе все рассмотрим.

И святой Петр достал свою толстую книгу, раскрыл ее, надел очки:

— Поглядим... Кюкюньян, стало быть... Кю... Кю... Кюкюньян. Ага, вот он. Кюкюньян... Ну, дорогой мой Мартен, страница-то вся чистая. Ни одной души... Кюкюньянцев ваших в раю не больше, чем в индейке рыбьих костей.

— Как, никого из Кюкюньяна? Никого? Это невозможно! Поглядите получше!..

— Никого, святой человек. Посмотрите сами, если думаете, что я шучу.

Я стал топтать ногами и, скрестив руки, кричал, умолял сжаться. Тогда святой Петр сказал:

— Поверьте мне, Мартен, нельзя так близко принимать все к сердцу. Еще удар случится. В конце концов, ведь не ваша тут вина. Ваши кюкюньяны, видите ли, вероятно, сейчас отбывают карантин в чистилище.

— Ах, великий святой Петр. Устройте, ради Бога, так, чтобы я мог хоть повидать их, утешить.

— С охотой, друг мой... Наденьте скорей эти сандалии, так как дорога туда не очень хорошая... Вот так.. Теперь идите все прямо, прямо. Видите, вон там, в самой глубине, поворот? Там найдете вы серебряную дверь, всю усеянную черными крестами... по правой руке... Постучите, и вам откроют... В добрый час! Будьте здоровы и веселы.

\* \* \*

И я шел... шел! Как было страшно! Только вспомнишь,—мороз по коже подирает. Узенькая дорожка, вся в терновнике, карбункулы так и горят, змеи так и шипят... Наконец, добрался до серебряной двери.

Стук, стук!

— Кто стучит?—спрашивает сиплый, плачевный голос.

— Священник из Кюкюньяна.

— Откуда?



— Из Кюкюньяна.

— А!.. Войдите.

Я вошел. Высокий, красивый ангел с темными, как ночь, крыльями и в сверкающей, как день, мантии, с брильятовым ключом у пояса, скрипел пером «кра-кра» по такой же толстой книге, как у святого Петра...

— Что вам нужно? чего вы просите?—сказал ангел.

— Прекрасный ангел Божий! Я хочу знать—быть может, я и очень любопытен—есть ли у вас здесь кюкюньянцы.

— Кто?

Кюкюньянцы, жители Кюкюньяна... Я, видите ли, их пастырь.

— А! Аббат Мартен? не так ли?

— Ваш покорный слуга, г. ангел.

\* \* \*

— Вы сказали, кажется, Кюкюньян.

И ангел раскрыл и стал перелистывать свою толстую книгу. Чтобы страницы лучше скользили, он то и дело муслявил свой палец.

— Кюкюньян?—сказал он, тяжело вздохнув...—Мартен! У нас в чистилище нет никого из Кюкюньяна.

— Иисус! Мария! Иосиф! никого из Кю-

кюньяна в чистилище! О, великий Боже, так где же они?

— Э, святой человек, они в раю. Где же, чорт возьми, им быть?

— Но я только оттуда, из рая...

— Вы оттуда!! И что же?

— Что же? Их там нет... Ах, добрая мать всех ангелов!..

— Ничего не поделаешь, г. священник. Если их нет ни в раю, ни в чистилище, то, значит, они...

— Пресвятой крест! Иисус, сын Давидов! Ай, ай, ай! Да может ли это быть?.. Неужто утаил правду великий святой Петр? Ведь петух еще не пропел! О, бедные мы! Как же я пойду в рай, когда никого из моих кюкюньянцев там не будет?

— Послушайте, мой бедный Мартен! Так как вы хотите, во что бы то ни стало, все это узнать, хотите увидеть собственными глазами,—ступайте по этой дорожке, бегите, если вы умеете бегать... Налево вы найдете большой портал. Там вы получите все сведения. И да поможет вам Бог!

И ангел закрыл дверь.

\* \* \*

Это была длинная тропинка, вся вымошенная раскаленными угольями. Я шатался, словно пьяный; на каждом шагу спотыкался. Я был весь



мокрый; все тело было в капельках пота, и я умирал от жажды... Счастье еще, что, благодаря сандалиям, которые дал мне добрый святой Петр, я не сжег себе ног.

Уж не знаю, как долго я шел, все спотыкаясь и прихрамывая. Но вот, по левой руке увидал я дверь... Нет, портал, огромный портал. Это огромное отверстие казалось входом в какую-то колоссальную печь. О, дети мои, что за зрелище! Тут у меня не спросили моего имени. Никаких формальностей: через настежь раскрытые двери вы попадаете прямо в пекло, вот как, братья мои, в воскресенье попадаешь с улицы прямо в кабак.

Пот с меня катил градом, хотя я весь окоченел и дрожал от холода. Волосы стали дыбом. Я почувствовал запах паленого, горелого мяса, что-то в роде того запаха, который несетя по нашему Кюкюньяну, когда Элигий, кузнец, подпаливает перед ковкой копыто старого осла. У меня дух захватило в этой пропитанной смрадом и вонью атмосфере. Я слышал страшные крики, стоны, вой, проклятия.

— Ну, что же! Войдешь ты или нет?— обратился ко мне чорт с рогами, ткнув при этом меня своей рогатиной.

— Я? Нет, не войду. Я — друг Бога.

— Ты друг Бога... Эх, мразь паршивая! чего же ты пришел сюда?..

— Я пришел... о, не говорите так со мною; я еле держусь на ногах... я пришел... я пришел издалека... смиренно хочу спросить у вас... нет... нет ли случайно... нет ли тут у вас... кого-нибудь... кого-нибудь из Кюкюньяна...

— Чего тут строить дурака! Словно ты сам не знаешь, что весь Кюкюньян здесь. На, скверный ворон, смотри! Вот увидишь, как мы тут их обрабатываем, твоих почтенных кюкюньянцев...

\* \* \*

И среди водоворота пламени я увидал:

Длинного Кок-Галина—вы все его знали, братья мои—Кок-Галина, который так часто напивался пьяным и так часто колотил свою несчастную Клэрон.

Я увидал Катаринэ... эту потаскушку... вот что спала одна на гумне... Вспоминает она вас!.. Но мимо!.. Я уже и так сказал лишнее.

Я увидал Паскаля Дуа-де-Пуа, который приготавливал себе масло из маслин г. Жюльена.

Я увидал Бабэ, которая, подбирая после жатвы колосья, таскала целые охапки со скирдов.

Я увидал мэтра Грапази, который так ловко смазывал колесо своей тачки.

И Дофинэ, который продавал так дорого воду из своего колодца.

И Тортильяра, который встретив, бывало, меня с иконой, как ни в чем не бывало продолжает



свой путь, не сняв шапки, не вынув трубки из рта... такой гордый, как Артабан... словно он встретил собаку.

И Куло с его Зеттой, и Жака, и Пьера, и Тони...

\* \* \*

Взволнованные, бледные от страха, все слушатели застонали, увидав в раскрывшейся преисподней кто—своего отца, кто—мать, кто—бабушку, сестру...

— Вы понимаете, братья мои,—начал снова аббат Мартен,—понимаете, что так продолжаться не может. Мне вверены ваши души, и я хочу спасти вас от той бездны, куда вы готовы свалиться. Завтра же я примусь за работу, не позднее, чем завтра. Да, работы будет довольно! Вот я и думаю—с чего надо начать. Чтобы все вышло хорошо, все надо проделать по порядку. Мы пойдем ряд за рядом, как в Жонкьере, когда танцуют.

Завтра—понедельник; я буду исповедывать стариков и старух. Это—дело пустое.

Во вторник—маленьких детей. С этими скоро покончу.

В среду—мальчиков и девочек. Тут может затянуться надолго.

В четверг—мужчин. Отработаем быстро.

В пятницу—женщин. Я скажу: без этих историй.

В субботу—мельника!.. На этого одного и целого дня будет мало...

И если в воскресенье мы все покончим, то мы будем все счастливы.

Видите ли, дети мои, когда хлеб созревает—его надо сжать; когда вино откупорено—его надо выпить. Довольно уже грязного белья, его надо выстирать, и выстирать, как следует.

Да пребудет с вами благодать Божья! Аминь.

\* \* \*

Как было сказано, так и сделано. Принялись за стирку белья.

Начиная с этого достопамятного воскресенья, от добродетелей Кюкюньяна благоухало на десять верст кругом.

И доброму, повеселевшему и преисполнившемуся ликования пастырю Мартену приснился в эту ночь сон: в сопровождении всей своей паствы, с зажженными восковыми свечами, в облаках фимнама и среди детей, певших *Te Deum*, он торжественной процессией шествует по освещенному пути к престолу Бога.

Такова история священника из Кюкюньяна, как мне велел ее передать вам один шутник Руманиль, сам слышавший ее от своего приятеля.





### СТАРИКИ.

— Письмо, дядя Азан?

— Да... из Парижа.

Дядя Азан был так горд, что письмо из Парижа... Но я не был доволен. Что-то подсказывало мне, что это парижское письмо с улицы Жан-Жак, так неожиданно и в такой ранний час попавшее на мой стол, испортит мне весь день. И я не ошибся. Судите сами.

«Ты должен мне оказать, мой друг, услугу. Тебе придется на день запереть свою мельницу и отправиться в Эгьер... Эгьер — это большое местечко в трех или четырех верстах от тебя. Когда приедешь, спроси монастырь Сирот. Первый дом за монастырем — низенький домик с серыми ставнями и с садиком позади него. Не постучавшись, ты войдешь — дверь всегда отперта — а войдя, довольно громко крикнешь: «Здравствуйте, люди добрые! Я друг Мориса»... Тогда ты увидишь, как из глубины огромных кресел к тебе протянутся руки двух маленьких старичков, старых-престарых. Ты поцелуешь их обоих за меня, от всего сердца, как если бы они были твоими родными. Затем у вас пойдут разговоры. Они будут тебе говорить обо мне, только обо мне, расскажут тысячу пустяков, которые ты выслушаешь без смеха... Ты не будешь смеяться,

правда?.. Это мои бабушка и дедушка, для которых я—вся их жизнь и которые не видели меня уже десять лет... Десять лет, как долго! Но что же делать? Меня—удерживает Париж, их—преклонный возраст... Они, ведь, такие старые! Если бы они вздумали навестить меня, то рассыпались бы в дороге... По счастью, ты—там, дорогой мой мельник, и, обнимая тебя, бедные старики будут думать, что они вместе с тем обнимают немного и меня... Я так часто говорил им о тебе, о той дружбе, которая...»

Чорт возьми эту дружбу! Как раз сегодня утром такая замечательная погода, только уж, конечно, совсем не для того, чтобы таскаться по дорогам: дул ветер, солнце жарило. Настоящее провансальское утро. Раньше, чем получилось письмо, я наметил себе уголок между двух скал и мечтал пробыть там целый день, точно ящерица упиваться светом, слушать пение моих сосен... Но делать нечего. Я запер мельницу, спрятал ключ в шелку под дверью. Палка, трубка—все со мной. В путь-дорогу!

Я пришел в Эгьер около двух часов. В деревне никого; все в поле. Среди белых от пыли вязов стрекотали стрекозы. На площади против мэрии стоял осел и грелся на солнце; над водоемом у церкви летали голуби. Но не было никого, кто бы мог мне указать, где находится приют для Сирот. К счастью, вдруг передо мною пред-



стала старая фея: она сидела на корточках возле своей двери и пряла. Я спросил ее. Фея была всемогуща. Стоило ей поднять свою маленькую прялку—и мгновенно предо мной, словно по волшебству, вырос приют для Сирот... Это было большое, угрюмое мрачное здание, гордившееся своим готическим порталом с старым крестом из красного песчаного камня и несколькими латинскими словами вокруг. Рядом с этим домом я увидел другой, много меньше. Серые ставни, позади—садик... Я сейчас же узнал его и, не постучавшись, вошел.

Всю жизнь не забуду я этого прохладного тихого коридора; стены были выкрашены в розовую краску; в глубине, сквозь светлую занавеску, виднелся палисадник; на стенках полустершиеся рисунки цветов и скрипок. Казалось, я попал к какому-нибудь старому байи\*) времен Седена\*\*). Из-за приотворенной двери налево слышался стук маятника больших часов и голос маленькой девочки, читавшей по складам: То г... да... свя... той И...ри...ней... вос... клик... нул... Я... пше...ни...ца... Гос...под...ия... Зу...бы... э...тих... жи...вот...ных... дол...жны... смо...лоть... меня... Я тихонько подошел к двери и заглянул. В небольшой комнат-

---

\*) Королевский чиновник, до Революции.

\*\*) Писатель 18-го века.

ке в полусвете, глубоко в кресле, положив на колени свои руки, с полуоткрытым ртом сидел старичок с розовыми щечками, весь, до кончиков пальцев, в морщинах. У его ног девочка в синем платье, в большой пелеринке и маленьком чепчике (так одевают сирот) читала житие святого Иринея, держа огромную книгу, больше, чем она сама... Это волшебное чтение заворожгло весь дом: спал в своем кресле старичок, спали мухи на потолке, канарейки в своих клетках. Огромные часы бормотали «тик-так, тик-так». Всю комнату оживлял лишь длинный сноп света, ровной белой полосой врывавшийся сквозь закрытые ставни. В этой полосе кружились блестящие пылинки... среди всеобщей дремоты девочка с серьезным видом продолжала свое чтение: Тот... час... два... л... в... а... б... р... о... с... и... л... и... с... я... н... а... не... го... и... рас... тер... за... л... и... а... е... го... В этот момент я вошел... Если бы в комнату ворвались лвы святого Иринея, они не вызвали бы большего испуга. Настоящий театральный эффект! Девочка вскрикнула, огромная книга полетела, мухи и канарейки встрепонулись, часы зазвонили, старик в испуге привскочил в своем кресле. Немного смутившись, я остановился у порога и громко закричал:

— Здравствуйте, добрые люди! Я друг Мориса.

О, если бы вы видели в эту минуту бедного старичка, если бы видели, как он, протянув ру-



ки, подошел ко мне и стал меня обнимать, жал мне руки, растерянно суетился по комнате, то и дело повторяя:

— Мой Бог! Мой Бог!

Глубокая морщина на его лице смеялась. Он стал красный, стал лепетать:

— Ах, сударь... Ах, сударь.

Затем пошел по коридору и стал звать:

— Мамочка!

Отворилась еще одна из дверей. По коридору точно пробежала мышка... Это была мамочка. Трудно представить себе что-нибудь милее этой маленькой старушки в чепце, в темном платье, как у монахинь, и, по старинной моде, с кружевным платочком в руках—в знак особого уважения ко мне... Это было прямо умирительно: они были так похожи друг на друга. Надеть только на старичка этот чепчик в оборках,—и его точно так же можно бы назвать мамочкой. Только настоящая мамочка, как видно, много плакала на своем веку и еще больше была в морщинах, чем он. Как и у старичка, возле нее всегда была сиротка из приюта—маленький страж в синей пелеринке, который никогда ее не покидал. Что может быть более трогательного, чем эти старички под охраной маленьких сирот?

Мамочка стала делать мне почтительный реверанс. Но старичок одним словом точно обрезал не доведенный до конца реверанс:

— Это друг Мориса.

Она мгновенно задрожала, стала плакать, уронила свой платочек и сделалась красной, совсем красной, еще более красной, чем он... Ах, эти старики! Кажется, у них в жилах осталась одна капелька крови, но при малейшем волнении она ударяет им в лицо...

— Скорей, скорей подай стул...— сказала старушка своей девочке.

— Открой ставни.. — закричал старичок своей.

Каждый из них взял меня за руку и они подвели меня к окну, которое раскрыли настежь, чтобы лучше разглядеть. Пододвинули кресла. Я сел между ними на складном стуле; синие девочки стали позади, — и начался допрос:

— Как он поживает? Что подельывает? Почему не приезжает? Доволен ли он?..

И пошло, и пошло! На целые часы.

Я отвечал на все вопросы, со всеми малейшими подробностями, без зазрения совести выдумывал то, чего не знал, боясь лишь, как бы не обмолвиться, потому что никогда не замечал, хорошо ли закрываются у моего друга окна, какого цвета обои в его комнате.

— Обои в его комнате?.. Голубые, сударыня, светло-голубые, в тирляндах.

— Правда? — с умилением произнесла бедная старушка и, обратившись к супругу, сказала:— какой он славный ребенок!



— О, да, славный ребенок! — с энтузиазмом ответил тот.

И все время, пока я им рассказывал, они друг другу кивали своими головками, тихо улыбаясь, моргали, протяжно вздыхали. Иногда старик вдруг близко наклонялся ко мне и шептал:

— Говорите погромче... она немножко туга на одно ухо.

То она говорила мне тихонько:

— Немного погромче, прошу вас!.. Он не совсем хорошо слышит...

Я повышал голос, и оба улыбками благодарили меня. И в их поблекших улыбках, с которыми они все ближе наклонялись ко мне, стараясь в глубине моих глаз найти образ их Мориса, — я вдруг увидал этот образ, едва различимый, подернутый дымкой, словно мне улыбался мой друг издалека, в тумане.



Вдруг старичок поднялся с своего кресла.

— Но, я думаю, мамочка... они еще не завтракали!..

И мамочка вскинула руки к небу.

— Не завтракали!.. Великий Боже!..

Мне казалось, что дело все еще идет о Морисе, и я уже собирался ответить, что этот славный ребенок никогда не садится завтракать позже двенадцати. Но, нет! Речь шла обо мне. И

надо было видеть, что за суматоха поднялась, когда я признался, что еще не ел.

— Скорей, девочки, накрывайте! Стол на середине комнаты, воскресную скатерть и тарелки в цветочках. Ну, нечего усмехаться, поворачивайтесь...

И пошла спешка! До трех счесть не успел, — уж завтрак был готов.

— Вкусный завтрак! — говорила мамочка, провожая меня к столу. — Только вам придется завтракать одному... Мы уже утром покушали.

Эти старики! В какой час к ним ни приедешь, они все — «утром кушали».

Вкусный завтрак, как его называла мамочка, состоял из чуточки молока, фиников и одной баркетты, нечто в роде пышки. Для них самих и для их канареек всего этого хватало бы, по крайней мере, на неделю... А я один уничтожил до последней крошки всю эту провизию!.. И что творилось за столом! Как шушукались маленькие, синие девочки, подталкивая друг друга локтем, как сердились канарейки из глубины своей клетки, будто говоря: «Ну, господин! всю лепешку с'ел!»

Действительно, я ее всю с'ел и даже не заметил этого. Я увлекся разглядыванием этой светлой мирной комнаты, где от каждой вещи веяло стариной... В особенности не мог я оторвать глаз от двух маленьких кроваток. Я представлял себе



эти две кровати, почти колыбельки, утром, когда едва рассветет, и они закрыты длинными занавесками с бахромой. Бьет три часа. Это обычный час, когда все старики просыпаются.

— Ты спишь, мамочка?

— Нет, дружок.

— Не правда ли, какой Морис славный ребенок?

— О, да! это славный ребенок!

И глядя только на эти две кровати старичков, приставленные друг к дружке, я рисовал себе целый разговор...

В это время на другом конце комнаты, возле шкапа, совершалась ужасная драма.

Дело в том, что нужно было достать с верхней полки особую бутылку с вишнями, настоенными на водке. Бутылку ожидала Мориса уже десять лет, и теперь ее решили раскупорить для меня. Несмотря на все упрасивания мамочки, старик хотел сам достать вишни. Взобравшись на стул, к великому страху своей супруги, он стал тянуться к верхней полке... Вы представляете себе эту картину: трясущийся, карабкающийся старичок, маленькие синие девочки, крепко уцепившиеся за его стул, задыхающаяся от волнения мамочка, стоящая позади с поднятыми кверху руками,—и над всем этим запах бергамота, который несется из открытого шкапа от сложенного стопочками,

выцветшего от времени белья... Это было восхитительно.

Наконец, после порядочных усилий, удалось достать из шкапа удивительную бутылку, а вместе с ней старинный, весь погнутый, серебряный бокал Мориса, когда он был еще маленьким. Его до краев наполнили вишнями. Морис так любил эти вишни! И, угощая меня, старик, с видом большого любителя подобных вещей, тихонько говорил мне на ухо:

— Какой вы счастливый! Вы можете их есть... Ведь их приготавлила моя супруга... Правда, вкусная вещь?

Увы! его супруга их, правда, приготавлила, но позабыла посыпать сахаром. Что делать? Составишься — сделаешься рассеянным. Ваши вишни, моя бедная мамочка, очень уж были свирепы на вкус... Это, однако, не мешало мне съесть их до последней и не поморщиться.



Когда угощение окончилось, я стал подумывать, не пора ли откланяться. Им очень хотелось, чтобы я посидел еще немного, потолковал об их славном ребенке. Но день уже клонился к вечеру, мельница была далеко. Надо было отправляться.

Старичок поднялся одновременно со мной.



— Мамочка, дай одеться!.. Я хочу проводить его до площади.

Конечно, в глубине души мамочка находила, что было довольно свежо, чтобы провожать меня до площади. Но она и виду не подавала. Только, когда она помогала ему просунуть руки в рукава пальто, — прекрасное пальто цвета испанского табака с перламутровыми пуговицами, — я слышал, как это доброе существо тихонько прошептало:

— Ты не поздно придешь? Да?

А он с лукавым видом ответил:

— Кхе, кхе!.. не знаю... может быть...

Затем они поглядели друг на друга и засмеялись. Засмеялись, глядя на них, и две синенькие девочки, засмеялись в своем углу канарейки в клетках... Сказать между нами, запах вишен, их всех опьянил.

...Спускался вечер, когда мы вышли—дедушка и я. Одна из синих девочек в отдалении следовала за нами: она должна была провожать старичка на обратном пути. Но он не замечал ее и был очень горд, что идет под руку со мной, как мужчина. Мамочка, вся сияя, видела все это из двери и все время кивала головой, будто говоря: «всетаки, мой бедный муж... еще ничего, держится молодцом».

## БАЛЛАДЫ В ПРОЗЕ.

Когда я отворил сегодня утром дверь, кругом моей мельницы лежал белый снежный ковер. Трава сверкала и потрескивала, как стекло; весь холм дрожал от холода... На один день мой дорогой Прованс преобразился в страну севера. И, окруженный заиженными соснами и кустами лаванды, превратившимися в хрустальные букеты, написал я эти две баллады, немного в немецком стиле. А передо мною падали белые сверкающие звездочки снежинок, и там, наверху, в чистом небе, неслись из страны Генриха Гейне аисты и кричали «холодно, холодно».

### I.

#### Смерть дофина.

Маленький дофин \*) болен, маленький дофин умирает... Во всех церквях королевства день и ночь открыты св. Дары и горят огромные свечи за выздоровление царственного ребенка. Печальные и тихи улицы старинной резиденции; не гудят колокола, экипажи движутся шагом... У решетки перед дворцом горожане с любопытством разглядывают беседующих на дворе важных, толстых лакеев в золоченых ливреях.

---

\*) Наследник французского короля (до Революции).



Весь замок в волнении.. По мраморным лестницам поднимаются и спускаются дворечные... Галлерей полны пажей и царедворцев в шелковых костюмах; они переходят от одной группы к другой, чтобы услышать новости, передаваемые шопотом... На широком крыльце придворные дамы в слезах приветствуют друг друга изысканными реверансами и вытирают глаза хорошенькими кружевными платками.

В оранжерее многочисленное собрание докторов в мантиях. Через стеклянные стены видно, как развешаются их длинные черные рукава, как важно наклоняются их парики... Воспитатель и шталмейстер маленького дофина ходят около двери, ожидая решения консилиума. Мимо них снуют повара, не кланяясь. Шталмейстер ругается, как безбожник; воспитатель читает наизусть Горация.. А из конюшни доносится протяжное жалобное ржание. Это лошадка маленького дофина, о которой забыли конюха, печально взывает перед пустой кормушкой.

А король? Где его королевское величество?.. Король одиноко заперся в комнате в отдаленной части замка... Короли не любят, чтобы их видели плачущими... Королева—другое дело... Она сидит у изголовья маленького дофина. Все в слезах ее прекрасное лицо. Громко перед всеми рыдает она, как простая торговка.

На своей кружевной постельке, бледнее, чем

подушки, лежит с закрытыми глазами маленький дофин. Можно подумать, что он спит. Нет! Маленький дофин не спит... Он поворачивается к матери и, видя, что она плачет, говорит:

— Ваше величество, королева, почему вы плачете? Неужели вы думаете, что я должен умереть?

Королева хочет ответить. Рыдания мешают ей говорить.

— Не плачьте же, ваше величество. Вы забываете, что я дофин, и что дофины не могут умирать так...

Королева рыдает еще сильнее, и маленькому дофину становится страшно.

— Ах,—говорит он.—Я не хочу, чтобы смерть пришла за мной, и я сумею не позволить ей подойти ко мне. Пусть приведут немедленно соток воинов, самых сильных, пусть они станут стражей вокруг нашей постели!.. Пусть сто больших пушек день и ночь стоят под нашими окнами с зажженными фитилями! Горе смерти, если она посмеет приблизиться к нам!..

Чтобы сделать удовольствие царственному ребенку, королева подает знак. Мгновенно под окнами раздается грохот катящихся пушек, и соток огромных воинов, с бердышами в руках, становятся вокруг комнаты. Это старые гвардейцы с седыми усами. Увидав их, маленький дофин



захлопал в ладоши. Он узнает одного из них и зовет его:

— Лоррэн! Лоррэн!

Старый солдат сделал шаг по направлению к постели.

— Я люблю тебя, мой старый Лоррэн... Вытащи на минуту твою огромную саблю... Если смерть придет за мной, ее надо убить. Ведь правда?

Лоррэн отвечает:

— Да, ваше высочество...

И две крупные слезы скатываются по его загорелым щекам.

В эту минуту к маленькому дофину подходит духовник и долго тихо говорит ему, указывая на Распятие. Маленький дофин изумленно слушает его и вдруг прерывает:

— Я понимаю все, что вы мне говорите, господин аббат. Но разве, в конце концов, мой маленький друг Беппо не мог бы умереть вместо меня, если заплатить ему много денег?..

Духовник продолжает тихо шептать, а маленький дофин кажется еще более удивленным.

Когда священник окончил, маленький дофин, тяжело вздохнув, начинает говорить:

— Все, что вы говорите мне, очень грустно, господин аббат. Но одно меня утешает: там, наверху, в звездном раю, я также буду дофином. Я знаю, что добрый Бог—мой брат и не станет

обращаться со мною иначе, чем подобает моему сану.

Потом, повернувшись к матери, он прибавляет:

— Пусть принесут мне мои лучшие одежды, мою белую герцогаевую мантию и бархатные башмачки! Я хочу предстать пред ангелами во всем блеске, хочу войти в рай в одежде дофина.

В третий раз наклоняется духовник к маленькому дофину и долго шепчет ему...

Вдруг царственный ребенок гневно перебивает его:

— Что же это,—кричит он.—Выходит, что быть дофином ровно ничего не значит!..

И, не желая ничего более слушать, маленький дофин поворачивается к стене и горько плачет.

## II.

### Супрефект \*) в поле.

Господин супрефект делает об'езд. С кучером спереди, лакеем позади, коляска из супрефектуры величественно увозит его в Комб-о-Фе на областной с'езд. Для такого знаменательного дня господин супрефект одел свой расшитый сюртук, взял свою складную шляпу, облачился в панталоны в обтяжку с серебряными лампасами и

---

\*) Вице-губернатор.



прицепил парадную шпагу с перламутровым эфесом. На коленях у него большой портфель из шагреновой кожи, и он печально глядит на него.

Господин супрефект печально глядит на свой портфель из шагреновой кожи. Он думает о той изумительной речи, которую ему придется произнести сегодня перед гражданами Комб-о-Фе.

— Милостивые государи, дорогие сограждане...

Он теребит шелковистые белокурые бакенбарды и двадцать раз повторяет:

— Милостивые государи, дорогие сограждане... Дальше речь не двигается.

Дальше речь не подвигается... Так жарко в этой коляске... Далеко, насколько хватает взор, вылится под южным солнцем дорога в Комб-о-Фе... Воздух накалился, и на вязах вдоль дороги, покрытых белою пылью, перекликаются тысячи стрекоз... Вдруг супрефект вздрогнул. Там, у косогора, он заметил небольшую рощу зеленых дубов, и они точно делают ему какие-то знаки.

Маленькая роща зеленых дубов точно говорит ему:

— Идите сюда, господин супрефект. Здесь, под моими деревьями, вам будет гораздо удобнее приготовить свою речь.

Господин супрефект соблазнился. Он выскакивает из коляски и приказывает сопровождаю-

шим его подождать: он пойдет в маленькую зеленую рощу сочинять свою речь.

В зеленой дубовой роще птицы, фиалки; шумят под шелковой травой ручьи... Когда они увидали г. супрефекта в его шикарных панталонах и с шагреновым портфелем,—птицы испугались и перестали петь, ручьи от страха затихли, а фиалки спрятались в траву... Весь этот мирок никогда не видал супрефекта и шопотом спрашивали они друг друга: кто этот важный господин, гуляющий в серебряных панталонах.

Тихо спрашивают в траве, кто этот важный господин в серебряных панталонах... Тем временем г. супрефект, восхищенный тишиною и свежестью рощи, приподнимает фалды сюртука, кладет на землю шляпу и садится на мох у подножья молодого дуба. Затем раскрывает на коленях огромный портфель и достает большой лист писчей бумаги.

— Это артист!—говорит малиновка.

— Нет,—возражает снигирь,—ведь у него серебряные панталоны. Скорее это принц.

— Скорее это принц,—говорит снигирь.

— Ни артист, ни принц,—перебивает их старый соловей, который целое лето пел в садах супрефекта...—Я знаю, кто это: это—супрефект!..

И вся маленькая роща начинает перешоптываться:



-- Это супрефект! Это супрефект!

— Какой он лысый!—замечает хохластый жаворонок.

Фиалки спрашивают:

— Он—злой?

— Он—злой?—спрашивают фиалки.

Старый соловей отвечает:

— Ничуть!

И, успокоенные этим ответом, птицы снова запели, зашумели ручьи, стали опять дышать благоуханием фиалки, как будто господина и не было здесь...

Бесстрастно сидя среди этого упоительного шума, г. супрефект в своем сердце призывает музы земледельческих с'ездов и, подняв кверху карандаш, начинает торжественным тоном декламировать:

— Милостивые государи, дорогие сограждане!

— Милостивые государи, дорогие сограждане!—торжественным голосом произносит супрефект...

Его прерывает взрыв хохота; он оборачивается и не видит никого, кроме толстого зеленого дятла, который уселся на его шляпу и, смеясь, глядит на него. Супрефект пожимает плечами и принимается за продолжение своей речи; но дятел снова прерывает его и кричит:

— К чему это?

— Как! К чему это?—говорит супрефект и становится весь красный.

Движением руки он сгоняет дерзкую птицу и снова начинает еще торжественнее:

— Милостивые государи, дорогие сограждане...

— Милостивые государи, дорогие сограждане!—еще торжественнее начинает супрефект.

Но вот тянутся к нему на своих стебельках маленькие фиалки и тихо говорят:

— Господин супрефект, понюхайте, как мы хорошо пахнем!

Ручьи заводят подо мхом свою дивную музыку; над его головой, на ветвях, начинают петь свои лучшие песни малиновки; вся маленькая роща точно сговорила не давать ему сочинить речь.

Вся маленькая роща в заговоре и не дает ему сочинить речь... Г. супрефект, опьяненный запахом цветов, опьяненный музыкой, напрасно пытается противиться новому очарованию, захватывающему его. Он облокачивается на траву, расстегивает свой прекрасный сюртук, бормочет еще два, три раза свое:

— Милостивые государи, дорогие сограждане... Милостивые государи, дорогие согра... Милостивые государи, дорогие...



Затем он посылает сограждан к чорту,—и музе земледельческих с'ездов остается только закрыть свое лицо.

Закрой свое лицо, о, муза земледельческих с'ездов!.. Когда, полчаса спустя, люди из супрефектуры, встревожившись за своего господина, вошли в маленькую рощу, они увидали зрелище, которое заставило их в ужасе отступить... Господин супрефект лежал на животе, в траве, весь раздевшись, точно цыган. И, пожевывая фиалки, господин супрефект сочинял стихи...

### Портфель Биссиу.

В одно октябрьское утро, за несколько дней до моего от'езда из Парижа, когда я завтракал, ко мне вошел какой-то старик в поношенном платье, кривоногий, весь в грязи, согнувшись, покачиваясь на длинных ногах, точно ошпанная болотная птица. Это был Биссиу. Да, парижане, ваш Биссиу, жестокий и очаровательный, этот неугомонный шутник, который так забавлял вас целые пятнадцать лет своими карикатурами и памфлетами... Ах, бедняга, как он опустился! Не сделай он одной гримасы, когда он вошел, я никогда бы его не узнал.

Склонив голову на бок, совсем к плечу, приложив, как флейту, к губам палку, этот знаме-

нитый и мрачный шутник дошел до половины комнаты, потом бросился к моему столу и сказал с мольбою:

— Сжальтесь над бедным слепым!..

Это было сделано так искусно, что я не мог удержаться от смеха. Но он очень холодно произнес:

— Вы думаете, я шучу... Взгляните на мои глаза.

И он показал мне два больших светлых зрачка, в которых не было зрения.

— Я ослеп, дорогой мой, ослеп... Вот что значит рисовать купоросом. Из-за этого милого занятия я сжег себе глаза, сжег совсем, совсем!— и он показал мне свои спаленные веки уже без признака ресниц.

Я был так взволнован, что не находил ответа. Мое молчание встревожило его.

— Вы заняты?

— Нет, Биссиу, я завтракаю. Не хотите ли?

Он ничего не ответил, но по вздрагивающим ноздрям я понял, что он умирает от желания принять приглашение. Я взял его за руку и усадил рядом с собой.

Пока для него ставили прибор, бедный старик, улыбаясь, стал обнюхивать стол.

— Так все это вкусно! Порошкошествую; так давно уже перестал завтракать! Утром, когда бегаешь по министерствам, хлебец в су... Вы ведь



знаете, шатаюсь теперь по министерствам. Пробую выудить разрешение на табачную лавочку... Что прикажете делать? Есть, ведь, надо. Я рисовать более не могу, писать не могу... Диктовать?.. Но что? В голове у меня пусто, ничего не изобретешь. Мое дело было подмечать гримасы Парижа и изображать их. А теперь не могу!.. Тогда я подумал о табачной лавочке. Не на бульварах,—нечего и говорить. На такую милость нет у меня никаких прав: ведь я—не мать какой-нибудь танцовщицы, не вдова какого-нибудь офицера. Нет, просто лавчонку в провинции, где-нибудь далеко, в уголке Вогез. Я заведу себе основательную фарфоровую трубку и назову себя Гансом или Зебеде, как у Эркман-Шатриана. Писать больше не буду и стану утешаться тем, что буду делать пакеты для табаку из произведений моих современников.

Вот все, чего я прошу. Не много, не правда ли!.. Но и этого никак не добьешься... Хотя, казалось бы, недостатка в протекции у меня не должно быть. Когда-то я был в моде. Я обедал у маршала, у принца, у министров. Все эти господа охотно принимали меня, потому что я их забавлял, потому что они боялись меня. А теперь уже никому я не страшен. О, мои глаза, мои бедные глаза! И меня уже никуда не приглашают. Ведь это так грустно,—слепая голова за столом... Передайте мне, пожалуйста, хлеба... Ах,

разбойники! Они заставляют меня так дорого заплатить за эту несчастную табачную лавчонку... Полгода таскаюсь со своей просьбой по всем министерствам. Прихожу утром, когда начинают топить печи или когда кругом по двору, по песку, водят лошадей его превосходительства, и ухожу только вечером, когда приносят огромные лампы, и из кухонь начинает так вкусно пахнуть... Вся моя жизнь проходит на деревянных ларях в передних. И как уже знают меня швейцары! В министерстве внутренних дел они называют меня: «Этот веселый господин!» Чтобы снискать их расположение, я рассказываю им всякие анекдоты или рисую одним штрихом на клочке бумажки такие толстые усы, что они смеются... Вот до чего я дошел после двадцатилетнего шумного успеха, вот конец жизни артиста!.. А ведь во Франции сорок тысяч юнцов, у которых дух захватывает от желания попытаться эту профессию! Едва каждый день локомотив привозит из департаментов в Париж целую кучу глупцов, алчущих литературы, славы печатного станка. Ах, романтическая провинция! Если бы нищета Биссу могла послужить тебе уроком!

Он уткнулся носом в тарелку и принялся жадно есть... Как тяжело было смотреть на него! Он поминутно ронял хлеб, вилку; начинал шарить руками по столу, отыскивая свой стакан. Несчастный! Он еще не привык к своей слепоте.



\* \* \*

Спустя минуту он продолжал:

— Знаете, что для меня всего ужаснее? Что не могу читать газеты. Чтобы понять это, надо быть газетным работником... Иногда, возвращаясь домой, я покупаю какую-нибудь газету только затем, чтобы подышать запахом влажной бумаги и свежих новостей... Как я люблю этот запах! И никого, кто бы мне почитал! Жена могла бы, но не хочет: по ее мнению, в отделе разных разностей попадают вещи не совсем приличные... Ах, эти бывшие содержанки! Как только выйдут замуж, нет женщин чопорнее их! С тех пор как я сделал ее госпожею Биссиу, она решила, что полагается ей быть ханжей, да еще какой!.. По горло увязла в добродетелях. Ведь она собиралась мазать мне глаза Салетской водой \*)! Да и чего только она не выдумывала— освященный хлеб, подаянья, амулеты, знахарей... Мы по горло увязли в делах благочестия... А разве не было бы добрым делом почитать мне газеты? Ну, да вот, не хочет! Если бы дочь была с нами, она-то читала бы. Но когда я ослеп, ее поместили в приют. Все одним ртом меньше...

Не мало горя причиняет мне она! Еще нет ей

---

\*) Салет, местечко паломничества, близ Гренобля.

девяти лет, а уж были у нее все болезни... И грустная она всегда такая, некрасивая! Некрасивее меня, если это возможно... урод! Что поделаешь. Я никогда не умел создавать ничего, кроме шаржей... Впрочем, что это я все рассказываю вам про свои семейные дела. Зачем это вам! Послушайте, дайте мне еще немного этой водки,—и пора отправляться. Прямо отсюда в министерство общественных работ. Там швейцаров не так-то скоро рассмешишь. Все бывшие профессора.

Я налил ему водки, и он стал пить ее умильно маленькими глотками. Вдруг,—не знаю, что за фантазия взбрела ему,—он встал с рюмкой, помстал немного вокруг нее своей слепой головой, с улыбкой человека, собирающегося что-то сказать, затем выкрикнул пронзительным голосом, точно произносил тост на банкете на двести кувертов:

— За искусство! За литературу! За печать!

И целых десять минут длился тост \*), самая безумная и самая блестящая импровизация, какая когда-либо выходила из уст этого остряка.

Представьте себе обозрение конца года, под заглавием: В недрах литературы 186... года. Наши, так называемые, литера-

---

\*) Застольная речь.



турные собрания, наша болтовня, наши споры, все затей нашего эксцентричного мирка, дым чернил, ад в миниатюре, где друг друга душат, друг друга терзают, оголяют себя, где толкуют о изживе еще более, чем у буржуа, что не мешает умирать с голода чаще, чем где-либо; все наши подлости, все наши невзгоды; барон Т... де-ла-Томбола в васильковом фраке, попрошайничающий в Тюльери; наши покойники, погребения с рекламами, надгробное слово делегатов, всегда одно и то же «дорогой и незабвенный! бедный друг!», а для этого «незабвенного друга» не соберешь и на могилу; и те, что покончили с собой, и те, что сошли с ума... Вообразите себе, как все это было рассказано, с какими оттенками, какой сопровождалось мимикой и жестами,—и вы будете иметь представление о том, какова была эта импровизация Биссиу.

\* \* \*

Но вот тост кончен. Он допил рюмку, спросил у меня, который час, и ушел, ушел расстроенный, даже не попрощавшись со мной... Не знаю, какое впечатление произвело его посещение в это утро на курьеров г. Дюрюи. Но знаю, что никогда за всю свою жизнь не испытывал я такой тоски, никогда не было у меня так грустно на душе, как после визита этого ужасного сле-

пого. Моя чернильница стала мне противна, перо вызывало во мне ужас. Я хотел уйти куда-нибудь далеко, убежать, видеть деревья, вдыхать сильные, благоухающие ароматы... Какая ненависть, Господи! Сколько желчи! Какая потребность все оплевать, все загрязнить! О, несчастный!

Я бешено шагал по комнате, и мне все еще чудилось то озлобление в голосе, с каким он говорил о дочери.

Вдруг, возле стула, на котором сидел слепой, я почувствовал что-то под ногой. Я нагнулся. Это был его портфель, огромный лоснившийся портфель с измятыми углами, с которым он никогда не расставался и который в шутку называл своим «карманом с ядом». В нашем мирке об этом кармане ходили такие же толки, как и о знаменитых папках Жирардена. Говорили, что в нем лежат ужасные вещи... Мне представился прекрасный случай убедиться в этом. Старый растопырившийся портфель при падении разорвался, и все бумажки высыпались на ковер; одну за другой стал я их подбирать...

Пачка писем на бумаге с цветочками, неизменно начинавшихся словами: Мой дорогой папочка! и подписанных Селезина Биссиу, из приюта детей св. Марии.

Старые рецепты от детских болезней, от крупы, судорог, скарлатины, кори... (ни одна из них не миновала бедной малютки!)



Наконец, большой запечатанный конверт, откуда вылезали, словно из-под чепчика у девочки, две-три вившиеся пряди светлых волос. А на конверте крупным дрожащим почерком, почерком слепого, было написано:

Волосы Селезины, остриженные 13-го мая, в день ее поступления туда.

Вот, что было в портфеле Биссиу.

Да, парижане, все вы одинаковы. Злоба, прония, адский смех, жестокие шутки, а в конце концов... Волосы Селезины, остриженные 13-го мая.

---

## ЛЕГЕНДА О ЧЕЛОВЕКЕ С ЗОЛОТЫМ МОЗГОМ.

Даме, которая просит веселых рассказов.

Читая ваше письмо, сударыня, я почувствовал что-то вроде угрызения совести. Я стал упрекать себя за излишне мрачный тон моих рассказов и сегодня дал себе слово написать для вас что-нибудь веселое, безумно веселое.

Почему, в самом деле, быть мне грустным? Я живу за тысячу верст от парижских туманов, на залитом солнцем холме, в стране тамбуринов и мускатного вина. Вкруг моего жилища—только солнце, музыка: оркестры малиновок, орфеоны синичек. Утром кулики тянут свое «курели! ку-

рели!» в полдень кузнички, а затем—пастухи со свирелями и красивые, смуглые девушки, смех которых доносится из виноградников... Правда, место совсем не подходящее для черных мыслей, и мне скорее следовало бы преподносить дамам розовые поэмы и вороха веселых сказок.

Но нет, я все еще слишком близок к Парижу. Каждый день доносит он до моих сосен эхо своих печалей... И вот сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной лежит известие о печальной кончине бедного Шарля Барбара. И оттого вся моя мельница облеклась в траур. Прощайте, кулики, кузнички. Уже нет в моей душе веселья... Вот почему, вместо хорошенькой, забавной сказки, которую я обещал рассказать, я и сегодня дам вам лишь грустную легенду.



Жил некогда человек, у которого был золотой мозг. Да, мозг из чистого золота. Когда ребенок родился, врачи думали, что он не выживет: такая тяжелая была у него голова, так чрезмерно велик череп. Однако, он выжил и вырос под солнцем, как прекрасное оливковое дерево. Только голова его грузно свешивалась то на ту, то на другую сторону, увлекая за собой все туловище, и жалко было смотреть, как он на ходу стучался о мебель. Часто падал. Раз он скатился с лестницы и ударился лбом о мраморную



ступеньку. Раздался металлический звон. Думали, что он разбился на-смерть. Его подняли, но нашли на голове лишь неглубокую ранку и на белокурых волосах были две-три крупинки золота. Вот каким образом родители узнали, что у их ребенка мозг был из золота. Они держали это в секрете. Ничего не подозревал и бедный мальчик. Только иногда спрашивал, почему его не пускают побегать с мальчиками на улице.

— Тебя украдут, сокровище дорогое мое!—отвечала ему мать.

Ребенок стал бояться, что его украдут, и играл один, с самим собой, тяжело передвигаясь из комнаты в комнату.

Только когда ему минуло восемнадцать лет, родители открыли ему тот чудовищный дар, который дала ему судьба. И так как они воспитали мальчика, кормили его до сих пор, то в вознаграждение потребовали себе немного золота. Мальчик не стал раздумывать, тут же (как он это сделал,—легенда об этом умалчивает) отломил из-под черепа кусок массивного золота, величиною в орех, и гордо бросил его на колени матери... Затем, весь ослепленный тем богатством, которое он носит у себя в голове, обезумев от желаний, опьяненный своим могуществом, он оставил родительский дом и пошел бродить по белу свету, расточая все свое богатство.



Судя по роскошному образу жизни, по тому, что без счета сеял он золото, можно было подумать, что мозг его неистощим... Но понемногу мозг стал истощаться, и глаза юноши начали гаснуть, щеки ввалились. Наконец, раз утром, проснувшись один среди остатков пиршества, среди бледнеющего пламени догоравших свечей, он ужаснулся той огромной прорехе, какую сделал в своем богатстве. Пришла пора остановиться.

С тех пор пошла иная жизнь. Человек с мозгом из золота стал жить в уединении, трудом своих рук, подозрительный и недоверчивый, как скупец; он избегал всяких искушений, старался сам позабыть о том роковом богатстве, которого уже не желал более тратить... К несчастью, в его уединение за ним последовал один из друзей. И этот друг знал его тайну.

Раз ночью бедный человек вскочил от боли, от нестерпимой боли в голове; он поднялся и увидал, как среди ночной тьмы, освещаемый лунной, божал его друг, пряча что-то под плащом.

Еще частицу мозга отняли у него...

Прошло некоторое время, и человек с мозгом из золота влюбился. На этот раз всему пришел конец... Всем, что было лучшего в его душе, любил он маленькую белокурую женщину... Любила и она его, но еще более любила разные укра-



шения, безделушки, белые перья и красивые, темно-красного цвета блестящие помпоны на своих туфельках.

Золото прямо таяло в руках этого крошечного создания—полуптички, полукуколки. Были у нее все прихоти и все капризы, а он никогда не мог сказать ей «нет». Боясь огорчить ее, он скрывал печальную тайну своего богатства.

— Ведь мы очень богаты?—спрашивала она.

— О, да!.. очень богаты.

И он с любовью улыбался маленькой голубенькой птичке, которая в невинном неведении съедала его мозг. Временами его охватывал ужас, в нем снова пробуждалось желание быть скудным. Но тогда появлялась маленькая женщина и говорила ему:

— О, супруг мой! Вы так богаты... Купите мне что-нибудь, но только очень, очень дорогое.

И он покупал ей что-нибудь очень, очень дорогое.

Так тянулось два года.

Потом раз утром маленькая женщина умерла, и никто не знал, отчего она умерла. Как птичка... Богатство приходило к концу. На то золото, что еще оставалось, несчастный вдовец устроил своей дорогой покойнице пышные похороны. На всем пути звонили колокола; массивный катафалк был затянут черной материей; лошади были в пополах, лежавший на гробу бархатный покров

был усеян серебряными слезами... Но все это казалось ему еще недостаточно великолепным... На что ему теперь его золото? Он раздавал его всюду и всем: в церкви, носильщикам, продавщицам иммортелей... И когда он возвратился с кладбища, от его волшебного мозга не осталось уже почти ничего. Какие-то жалкие крупички у стенок черепа...

Он бродил по улице с блуждающими глазами, протянув вперед руки, спотыкаясь, как пьяный. Вечером, когда уже стали зажигать в выставках магазинов огни, он остановился у огромной, залитой светом витрины. Долго стоял он, вперив глаза в пару туфельек из голубого атласа, отороченных лебяжьим пухом.

— Я знаю, кому эти туфельки могли бы доставить большое удовольствие,—сказал он с улыбкой. Он совсем забыл, что маленькая женщина умерла, и вошел в магазин.

Сидевшая в глубине хозяйка вдруг услышала страшный крик. Она подбежала к вошедшему и в страхе отшатнулась назад. Перед ней стоял, прислонившись к прилавку, человек и смотрел на нее безумными, полными скорби глазами. В одной руке он держал голубые туфельки, отороченные лебяжьим пухом, другую, всю в крови, с частицами золота на концах ногтей, он протягивал ей.

Такова легенда о человеке с золотым мозгом.





Несмотря на то, что она похожа на фантастический вымысел, легенда эта правдива от начала до конца. Есть несчастные люди, которые обречены жить своим мозгом и расплачиваться чистым золотом своего ума и своей души за все в жизни... Оттого каждый день полон для них горя; а потом, когда они уже устанут страдать...



#### ПОЭТ МИСТРАЛЬ \*).

В прошлое воскресенье, когда я встал, мне показалось, что я где-то на Монмартре \*\*). Шел дождь, небо было серое, мельница такая печальная. Мне было страшно провести дома этот холодный, дождливый день. Мгновенно явилось желание отправиться хоть немножко погреться у Фредерика Мистралья, этого великого поэта, который жил в трех лье от моих сосен, в маленькой деревушке Майлане.

Задумано—сделано: дубинка из миртового дерева, томик Монтэня, плед,—и в путь. В поле никого... Наш прекрасный католический Прованс по воскресеньям дает земле отдых... Дома одни собаки... Фермы закрыты. Мелькнет вдалеке тележка с намокившим парусиновым верхом; про-

---

\*) Жил в 1830—1914, писал стихи на провансальском наречии.

\*\*) Квартал в Париже.

бредет старушка с капюшоном на голове, в мантилье цвета увядшего листа; мулы в праздничной запряжке, в пополах из голубых и белых полос с красными помпонами и серебряными бубенчиками провезут легкой рысью целую кучу фермеров в церковь; сквозь туман вырисовется силуэт привязанной барки и в ней рыбак, закидывающий сети.

В этот день не было никакой возможности читать в дороге. Дождь лил, как из ведра, и ветер бросал его в лицо целыми пригоршнями. Я прошел всю дорогу, не останавливаясь. Наконец, после трехчасовой ходьбы, я увидел перед собою небольшие рощи кипарисов, в которых укрывается от ветров деревушка Майлан. На улицах деревни даже кошки не видно. Все ушло на мессу. Когда я проходил мимо церкви, орган гудел, и через разноцветные стекла виднелись мерцающие огоньки свечей.

Домик поэта на самом краю деревни. Последний дом по левой стороне дороги в Сен-Реми,—одноэтажный, с садом впереди... Я тихо вошел... Никого... Дверь в столовую притворена, но за ней чьи-то шаги, кто-то громко говорит... Я хорошо их знаю,—и эти шаги, и этот голос. На мгновение останавливаюсь в маленьком, выделенном известкой коридоре, в сильном волнении дотрагиваюсь до дверной ручки... Сердце бьется... Он там, работает. Не подождать ли, пока



он кончит строфу?.. Ну, будь, что будет,—войдем!..

\* \* \*

Парижане! Когда поэт Майланы появился у вас, чтобы показать Париж своей «Мирейль» \*), и вы увидали его в ваших салонах, этого дикаря во фраке, со стоячим воротником, в городской шляпе, которая его так же стесняла, как и его слава,—вы подумали, что это Мистраль... Нет, это был не он. Есть один только Мистраль, тот, которого я застал в прошлое воскресенье в его деревушке: в нахлобученной на уши фетровой шаптонке, без жилета, в куртке, подпоясанной красным каталонским \*\*) шарфом, сгорящим взором, с пылающим вдохновением лицом, с ласковой улыбкой; изящный, как греческий пастух, расхаживал он по комнате крупными шагами, заложив руки в карманы, и сочинял стихи.

— Как, это ты!—вскрикнул Мистраль и бросился ко мне на шею.—Какая счастливая мысль—прийти ко мне! Как раз сегодня в Майлане праздник. Будет музыка из Авиньона, бой быков, процессии, фарандола... Будет великолепно... Мать сейчас вернется с мессы, позавтракаем и потом «фюит!»—пойдем смотреть, как пляшут хорошенькие девушки.

Пока он говорил это, я с волнением разгля-

\*) Поэма Мистралья.

\*\*) Каталония—восточная часть Испании.

дывал маленькую комнату со светлыми обоями, которой так давно не видал и где уже провел столько хороших часов. Ничто не переменилось. Все тот же клетчатый желтый диван; два плетеных кресла, на камине Венера без руки и Арльская Венера, портрет поэта, писанный Эбером, его фотографическая карточка, снятая у Этьена Каржа, и в углу, у окна, письменный стол, простой, бедный канцелярский стол, весь заваленный старинными фолиантами и словарями. Посредине стола я увидел раскрытую толстую тетрадь. Это был «Каландаль», новая поэма Мистралья, которая должна появиться в конце года, к Рождеству. Над этой поэмой Мистраль работает семь лет и вот уже около полугода, как он написал последний стих. Но он все еще не решается расстаться с нею. Вы понимаете—всегда нужно почистить какую-нибудь строфу, отыскать более звучную рифму...

Хотя Мистраль пишет на провансальском наречии, он так отделявает свои стихи, словно весь свет будет их читать именно на этом наречии и оценит всю изощренность искусства мастера. О, дорогой поэт! К кому больше, чем к Мистрально, подходят слова Монтэня: Вспомните о том, кто на вопрос, почему он так старательно работает над искусством, которое едва ли многие сумеют оценить,—



ответил: «с меня было бы довольно и немногих, довольно и одного. Довольно и ни одного».

\* \* \*

Я держал в руках тетрадь с поэмой «Календаль» и взволнованно перелистывал ее... Вдруг на улице, у самого окна, раздаются звуки лудск и тамбуринов. Мой Мистраль бежит к шкапчику, достает рюмки, бутылки, вытаскивает стол из средину комнаты и открывает музыкантам дверь...

— Из смейся!—говорит он мне.—Они устроили мне серенаду... Ведь я—муниципальный советник.

Маленькая комната наполняется народом. Тамбурины сложены на стулья, старое знамя поставлено в угол. По рукам ходят стаканчики вина. Затем, когда опорожнили уже за здоровье господина Фредерика несколько бутылок и вдоволь поболтали о празднике, о том, удастся ли фарандола так же хорошо, как в прошлом году, о состоянии быков,—музыканты ушли: они отправились устраивать серенады другим советникам. В это время вернулась мать Мистралья. На столе быстро появилась чистая, белая скатерть, два прибора. Я знаком с порядками этого дома и знаю, что, когда у Мистралья бывает кто-нибудь, мать не садится за стол... Бедная старушка по-

нимает только на своем провансальском языке и чувствовала бы себя очень неловко в беседе с французом... Да к тому же она нужна на кухне.

Как хорошо позавтракал я в этот день: кусок жареного козьего мяса, сыр, свежее варенье, винные ягоды, мускатный виноград. Все это мы запили прекрасным папским «шато-неф», у которого, когда оно в стаканах, такой красивый розовый цвет. За десертом я беру тетрадь с поэмой и кладу ее перед Мистралем.

— Ведь мы же условились, что пойдем гулять, — улыбаясь говорит поэт.

— Нет, нет! «Каландаль»! «Каландаль»!

Мистраль покоряется и мелодичным, мягким голосом, отбивая рукой размер стихов, начинает первую песнь:

«О девушке с безумною любовью  
я рассказал печальную уж повесть;  
теперь, — благослови Господь, —  
вам пропою я песнь про юношу  
из Касси, анчоусов несчастного  
ловца».

Звонили к вечерне... на площади разрывались шутихи; звуки дудок и тамбуринов перекатывались по улицам. Погоняемые быки ревели.

Облокотившись на стол, со слезами, слушал я историю маленького провансальского рыбака.





Каландаль был простым рыбаком, но любовь сделала из него героя... Чтобы завоевать сердце своей милой—прекрасной Эстрелы—он совершает поразительные подвиги, и ничто в сравнении с ними все двенадцать подвигов Геркулеса. Раз, решив непременно разбогатеть, он изобрел удивительные рыболовные снасти, согнал в порт всю морскую рыбу. В другой раз он прогнал обратно в разбойничье гнездо графа Северана, разбойника, наводившего ужас на ущелье Оллиуль, к его наложникам и товарищам, таким же головорезам... Что за молодчина этот маленький Каландаль! Как-то встретил он спорщиков, собиравшихся кулаками разрешить какой-то спор на могиле провансальца Жака, сделавшего деревянную модель Соломонова храма. Каландаль бросается в середину побоища и словами успокаивает толпу.

Подвиги сверхчеловеческие!.. Где-то высоко, на утесах Лура, находился неприступный кедровый лес, и не дерзал забираться туда ни один дровосек. Но Каландаль идет туда. Остается там один в продолжение тридцати дней. Тридцать дней раздаются удары его топора, впивающегося в стволы. Лес стонет. Одно за другим падают старые гигантские деревья и скатываются

на дно пропасти. И когда Каландадь спустился вниз, не осталось на горе ни одного кедра.

Наконец, в награду за столько подвигов, ловец анчоусов добывается любви Эстрельи, а население Касси избирает его своим советником. Вот история Каландаля... Но Бог с ним, с самим Каландалем. Выше всего в поэме описание Прованса,—Прованса моря, Прованса гор, с его историей, его нравами, его преданиями, видами; весь этот наивный и свободный народ, который, прежде чем умереть, дождался своего великого поэта. А теперь—проводите железные дороги, расставляйте телеграфные столбы, гоните из школ провансальский язык! Прованс вечно будет жить в «Мирейль» и «Каландале».

\* \* \*

— Довольно поэзии!—сказал Мистраль и закрыл тетрадь.—Пойдем, посмотрим на праздник.

Мы вышли. Вся деревня была на улице. Ветер точно вымел все небо. Оно весело отражалось в мокрых красных крышах. Мы поспели к началу процессии. Добрый час тянулась бесконечная вереница всяких монахов,—монахов в капучинах голубых, белых, серых, сестер, закрытых вуалями; розовые знамена с золотыми цветами, огромные деревянные раззолоченные изваяния святых, которые несли на плечах по четыре че-



ловека; пестро раскрашенные, точно идола, фарфоровые изображения святых дев с большими букетами в руках; церковные облачения, балдахин из зеленого бархата, Распятие, перевитое белым атласом. Все это развевалось по ветру, среди огней восковых свечей и солнечных лучей, среди раздававшегося пения псалмов и громкого перезвона колоколов.

Когда процессия окончилась, и святых отнесли назад в их часовни, мы отправились смотреть быков, затем игры на воздухе, борьбу, прыгание, игру с козым мехом и целый ряд других провансальских праздничных игр. Спускалась ночь, когда мы вернулись в Майлану. На площади, перед небольшим кафе, где вечером Мистраль играл в домино с своим приятелем Зидором, зажгли иллюминацию... Составлялась фарандола. Всюду засветились в темноте бумажные, вырезные фонарики; молодежь занимала свои места. Затем, по удару в тамбурин, вокруг горевших огней началась безумно веселая пляска и продолжалась она всю ночь.

\* \* \*

Поевши и слишком усталые, чтобы еще гулять, мы вошли в комнату Мистрала. Скромная крестьянская комната, с двумя большими кроватями. Стены без обоев. Видны балки потолка. Четыре года назад, когда академия присудила

автору «Мирейль» премию в три тысячи франков, у госпожи Мистраль явилась мысль:

«А не оклеить ли комнату, не оштукатурить ли потолок?».

— Нет, нет!—ответил Мистраль.—Это... это деньги поэтов, их нельзя тратить.

Комната так и осталась совсем голая... Но, пока еще держались эти деньги поэтов, все, кто обращался к Мистралию, всегда находили открытым его кошелек.

Я принес в комнату тетрадь с «Каландаем» и хотел послушать еще какой-нибудь отрывок, прежде чем лечь спать. Мистраль выбрал эпизод о фарфоровом сервизе. Вот он в нескольких словах.

Это было, уже не помню, где именно, за важным обедом. На столе—великолепный сервиз мустьерского фарфора. На каждой тарелочке, расписанной голубой эмалью, какой-нибудь рисунок на провансальский сюжет,—вся история края. И с какой любовью описан этот фарфор!.. Каждой тарелочке посвящена отдельная строфа, и каждая строфа—маленькая поэма, наивная и совершенная, как буколики Феокрита.

Мистраль читал мне свои стихи на этом красивом провансальском языке, более чем на три четверти латинском, на котором когда-то говорили царицы, а теперь понимают только наши пастухи. А я слушал и про себя восхищался этим



человеком. Я думал о том, в каком состоянии упадка нашел он свой язык, и что он из него создал. В воображении вставал один из старинных замков князей Бо, какие еще иногда встречаешь в отрогах Альп: без крыши, без баллюстрады у под'езда, без стекол в окнах; шпиль сломан, герб на дверях зарос мхом; по переднему двору расхаживают куры, у хрупких колонн галлерей—свиньи, осел пасется в заросшей травой часовне, голуби пьют из наполненных дождевой водой кропильниц, и среди всего этого разорения—две-три крестьянские семьи, приткнувшие свои лачуги к стенам старинного замка. И вот, в один прекрасный день сын одного из этих крестьян страстно влюбляется в величественные развалины, негодует, что они оскверняются; поспешно выгоняет скотину с переднего двора; феи приходят ему на помощь, и он один восстанавливает широкую лестницу, исправляет деревянную обшивку стен, вставляет стекла в окна, поднимает башни, покрывает новой позолотой тронный зал. И воскрешает величественный замок былых времен, где жили папы и императрицы.

Такой реставрированный замок—провансальский язык.

И этот сын крестьянина—Мистраль.

### ТРИ НЕДОСЛУЖЕННЫЕ ОБЕДНИ.

(Рождественская сказка).

— Две фаршированные индейки, Гарригу?..

— Да, ваше преподобие, две великолепные индейки, начиненные трюфелями. Уж я-то знаю, потому что сам помогал фаршировать. Когда их жарили, казалось, кожа вот-вот лопнет, так она натянулась...

— Иисус-Мария! А я так люблю трюфели!.. Давай скорей мой стихарь, Гарригу... Ну, а кроме индеек, что еще ты заметил в кухне?..

— О, много всяких вкусных вещей... С полудня только и делали, что ощипывали фазанов, рябчиков, тетерок. Пух летел во все стороны... А потом принесли угрей, золотистых карпов, форель...

— А форель—большая? А, Гарригу?

— Вот какая, ваше преподобие... Огромнейшая...

— О, Боже... я точно вижу их... Вино для службы уже приготовил?

— Так точно, налил... Но что это в сравнении с тем вином, которое вы будете пить сегодня после мессы! Если бы вы посмотрели, что приготовлено в столовой замка. Полные графины так и переливают всеми цветами... А серебряная посуда, чеканные приборы, цветы, канделябры!..



Такого рождественского ужина еще не бывало. Господни маркиз пригласил всех знатных соседей. Вас будет за столом, по крайней мере, человек сорок, не считая судьи и нотариуса... Ну, и счастье же вам выпало, ваше преподобие... Запах индеек и трюфелей так и преследует меня... Уф!..

— Ну, ну, дитя мое! Остережемся греха чревоугодия, особенно в рождественскую ночь... Ступай, зажги скорее свечи... Пора уж и к мессе звонить. Скоро двенадцать; нельзя опаздывать...

Такой разговор шел в ночь под Рождество тысяча шестьсот какого-то года между преподобным дон-Балагером, прежде—настоятелем Барнабитов, а ныне—капелланом на жаловании у владетелей Тренкеляжа, и его маленьким служкою, Гарригу. Впрочем, это только казалось, что он—Гарригу. В этот вечер дьявол принял образ круглолицего служки, чтобы легче ввести во искушение досточтимого отца и заставить его поддаться ужасному греху чревоугодия. В то время, как так называемый Гарригу (тьфу, тьфу!), что было мочи, звонил в колокола на колокольные часовни, досточтимый отец облачался в ризы в маленькой ризнице. Душа его была уже смущена всеми этими гастрономическими описаниями, и он, одеваясь, повторял про себя:

— Жареные индейки... золотистые карпы... форель вот такая...

Ночной ветер разносил во все стороны музыку колоколов. По склонам горы Ванту, на вершине которой возвышались старинные башни Тренке-ляжа, задвигались в темноте огоньки. Это шли в замок на полуночную мессу фермеры с своими семьями. Они шли группами в пять-шесть человек и пели; впереди, с фонарем в руках, шел глава семьи, за ним—женщины в длинных коричневых мантильях, под которые прятались дети. Несмотря на поздний час и холод, все шли весело, поддерживаемые мыслью о том, что, как и в прошлые года, внизу, в кухнях, для них будут приготовлены столы. Иногда на крутом подеме посверкивали, отражая луну, стекла кареты сенъора, впереди которой ехали люди с фонарями. А то слышался топот копыт мула, позвякивавшего бубенчиками, и при свете больших фонарей, разрывавших туман, фермеры узнавали своего судью и кланялись ему.

— Добрый вечер, мэтр Арнотон!

— Добрый вечер, добрый вечер, дети мои!

Ночь была светлая. Ярко горели звезды, подбавливаемые холодком. Ветер пошипывал, и мелкие сухие снежинки, катясь по одеждам, не оставляли мокрого следа. На самом верху холма вырисовывался громадой своих башен и зубчатых стен замок с колокольней, убегавшей в темное, синее небо. Во всех окнах мелькали маленькие дрожащие огоньки и походили на темном



фоне здания на змейки огня, бегающие по тлеющей бумаге. Чтобы добраться до часовни, надо было, миновав подъемный мост, пройти еще через двор, загроможденный экипажами, носилками, ярко освещенный фонарями и пламенем из кухонь; слышно было, как шумит вертел, звякают кастрюли, звенит хрусталь, серебро. Вился теплый пар от жареных птиц, всевозможных соусов и невольно вызывал у фермеров, и у судьи, и у капеллана, у всех—ту же мысль:

«Какой отличный будет ужин после мессы!».



Дрелиндинь-динь!.. Дрелиндинь-динь...

Это начинается полуночная месса. В часовне замка—соборе в миниатюре—по всем перекрещивавшимся сводам, по дубовой обшивке стен, до самого потолка, развешены ковры; все свечи зажжены. И сколько народа! Какие наряды! Вот, прежде всего, на резных скамьях вокруг хор, сир де-Тренкеляж в камзоле бледно-красной тафты и возле него все приглашенные благородные сеньоры. Напротив, у обитых бархатом аналоев—старая-вдовствующая маркиза, в парчевом платье огненного цвета, и молодая госпожа де-Тренкеляж с целым сооружением из гофрированных кружев на голове, по последней моде французского двора. Пониже, все в черном, в огромных остроконечных париках и с бритыми

лицами—судья Тома Ариотон и нотариус метр Амбруа, два черных пятна среди яркого шелка и атласа. Затем тучные мажордомы, пажи, доезжачие, управляющие, экономка Варвара со всеми своими ключами, привешенными сбоку, на тонком серебряном кольце. В глубине, на скамейках—младшие служащие, служанки, фермеры, с их семьями; и, наконец, там, у самых дверей,—господа поварята. Они то приотворяют, то тихонько закрывают дверь и урывками, между двумя соусами, забегают в часовню, чтобы захватить хоть кусочек мессы, и приносят с собою в торжественную обстановку церкви, в которой жарко от множества свечей, запах ужина.

Неужто эти белые колпаки поварят отвлекают священника от службы? Или колокольчик Гарригу? Этот сумасшедший колокольчик, который с какой-то адскою торопливостью работает у алтаря и точно все время говорит:

— Скорей, скорей!.. Чем раньше кончим, тем раньше сядем за стол.

И каждый раз, как звякает этот колокольчик дьявола, священник забывает про мессу и думает только об ужине. Ему мерещется суетящиеся повара, плиты с пламенем, пар, вырывающийся из полуоткрытых кастрюль, и в этом паре—две великоленные индейки, подрумянившиеся, разбухшие от трюфелей...

То он видит вереницу пажей. Они несут блю-



да, над которыми клубятся облака вкусного пара. И он входит вместе с ними в столовую, где уже все готово для торжественного ужина. О, блаженство! Вот огромный стол, весь заставленный, залитый светом; разукрашенные перьями павлины; фазаны растопыривают золотистые крылья; графины цвета рубина, пирамиды фруктов среди зеленых веток, и эти замечательные рыбы, о которых рассказывал Гарригу (ах да, Гарригу!); они сверкают чешуей на ложе из укропа, точно только что вышли из воды, и в рот вставлены букеты пахучей зелени. Так живо это видение, что кажется дон Балагеру, будто эти волшебные блюда расставлены тут, перед ним, в алтаре. Если не считать маленьких промахов, достопочтенный человек служит службу очень добросовестно, не пропускает ни строчки, не забывает ни одного поклона. И все идет великолепно до конца первой мессы. Вы, конечно, знаете, что в сочельник тот же священник должен отслужить одну за другою три мессы.

— Одной меньше!—сказал про себя священник со вздохом облегчения.

Затем, не теряя ни минуты, он дал знак службе, или тому, кого принимал за него...

Дрелиндинь-динь!.. Дрелиндинь-динь!..

Начинается вторая месса, а вместе с нею начинается и грех дон Балагера.

— Скорее, скорее, поспешим!—кричит ему

своим тоненьким голоском колокольчик Гарригу. И на этот раз бедный священник уже всецело во власти демона чревоугодия; подгоняемый аппетитом, теребит он свой требник и жадно проглатывает целые страницы; он в каком-то экстазе наклоняется, выпрямляется, делает крестное знамение, кладет поклоны, упрощает все движения, чтобы поскорее кончить. Едва прикасается до Евангелия, едва бьет себя в грудь. Он и служка состязаются, кто прочитает быстрее. Вопросы и ответы летят, кружатся в вихре. Слова, произносимые наполовину с закрытым ртом (открывать рот—это отняло бы слишком много времени), кончаются неразборчивым бормотанием.

Подобные виноградарям, торопливо выжимающим виноград, оба они бормочат обрывки латинских слов мессы, и они, словно брызги, разлетаются во все стороны.

И все время этот проклятый колокольчик звякает над самым ухом, точно бубенчики, которые подвешивают почтовым лошадям, чтобы заставить их скакать во всю прыть.

При таком спехе вторая месса быстро кончена.

— Двумя меньше! — говорит, переводя дух, священник. Затем, не отдохнув, весь красный, мокрый, он почти скатился со ступенек алтаря и...

Дрелиндинь-динь!.. дрелиндинь-динь!..



Начинается третья месса. Осталось всего несколько шагов до столовой. Но, увы! По мере того, как ужин приближается, несчастного дон Балагера охватывает все сильнее безумие нетерпения и обжорства. Видения становятся все неотвязчивее... Золотистые карпы, жареные индейки — вот они, тут... он их трогает... он их... О, Господи! Блюда дымятся, вина струят свой аромат. А колокольчик бешено потрясает своим языком и кричит ему:

— Скорее, скорее!.. Еще скорее!

Но куда еще скорее? Губы едва движутся... Он и так еле произносит слова... Разве совсем обмануть Бога, украсть у него Его мессу?.. Да он это и делает, несчастный... Во власти искушения, он начинает перескакивать через строчку, через две. Послание ему кажется слишком длинным — он его не доканчивает, перелистывает Евангелие, проходит мимо «Верую»; не заглянув, перескакивает через «Отче наш», издали заглядывает еще куда-то и со всего размаху скачком выпрыгивает в «Вечное проклятие», неотступно преследуемый окающим Гарригу, который вторит ему с поразительным согласием, дергает его за ризу, переворачивает сразу по две страницы, толкает нагой, опрокидывает сосуды. И без умолку, и все сильнее, все быстрее звенит колокольчик. Надо было видеть, какое недоумение выступило на лицах всех присутствующих. Вынужден-

ные следить за этой мессой только по мимике священника, так как слов разобрать невозможно, одни из них поднимаются в то время, когда другие опускаются на колени; одни садятся, когда другие встают. Рождественская звезда, двигаясь по путям неба, туда, к маленьким яслям, бледнеет от страха при виде этого хаоса...

— Аббат уж слишком спешит... нельзя уследить за ним,—шепчет старуха вдова и трясет смущенно чепцом.

Мэтр Арнотон, с большими стальными очками на носу, растерянно перелистывает молитвенник, тщетно отыскивая, какую в этот момент, черт возьми, читает священник молитву.

Но в глубине души все эти люди, которые тоже думают об ужине, ничего не имеют против того, что месса летит, как на почтовых. И когда дон Балагер с сияющим лицом поворачивается к молящимся, крича изо всех сил: «С миром изыдем», толпа отвечает ему: «Благодарим Бога» с таким ликованием, с таким увлечением, будто уже сидят за столом и произнесли первый тост.

Пять минут спустя, сеньоры усаживались в большой столовой, священник—в центре их. Замок, освещенный сверху донизу, гудел пением, криками, смехом. И дон Балагер воткнул свою вилку в крылышко рябчика, заливая угрызения совести добрым старым вином. И столько бедный святой человек пил и ел, что в ту же ночь

умер  
ром  
нием  
обра

— сказ  
—Тв

всю  
иочн  
нее  
посл  
часо  
суге  
вине

как  
Тепе  
часо  
купь  
наст  
алта  
ные  
гнез  
свер  
разв  
а по  
ни,  
шим  
хоти



умер от удара. И не успел даже покаяться. Утром он пришел на небо, еще весь под впечатлением ночного пира. Предоставляю вам самим вообразить, как он был там принят.

— Отойди с глаз Моих, дурной христианин! — сказал ему Всевышний Судия, Владыка всех нас. — Твой грех достаточно велик, чтобы вычеркнуть всю твою праведную жизнь... Ты украл у меня ночную мессу... Хорошо, ты отплатишь мне за нее тремястами служб. И войдешь в рай только после того, как отслужишь в твоей собственной часовне эти триста рождественских месс, в присутствии всех тех, которые согрешили по твоей вине и вместе с тобой...

...Такова подлинная легенда о дон Балагере, как ее рассказывают в стране оливковых рощ. Теперь не существует уже замка Тренкеляж. Но часовня еще цела, на самой вершине Ванту, среди купы зеленых дубов. Ветер хлопает открытою настежь дверью; порог зарос травой. В углах алтаря и в амбразурах высоких окон, разноцветные стекла которых давно исчезли, птицы свили гнезда. Но каждый год в рождественскую ночь сверхъестественный огонек блуждает среди этих развалин. И когда крестьяне идут слушать мессу, а потом ужинать, они видят этот призрак часовни, освещенной невидимыми свечами, не гаснущими даже под снегом и ветром. Смейтесь, если хотите, но один виноградарь из окрестности, по

имени Гарригу,—вероятно, один из потомков того Гарригу—уверял меня, что в один рождественский вечер он, будучи немного навеселе, заблудился в горах около Тренкеляжа. И вот, что он видел... До одиннадцати часов—ничего. Все было тихо, темно, мертво. Вдруг, около полуночи наверху колокольни зазвонил колокол, старый-старый, точно где-то за десять верст. Вскоре затем на дороге замелькали огоньки, задвигались неясные тени. У входа в часовню слышались шаги, тихие голоса:

— Добрый вечер, мэтр Арнотон!

— Добрый вечер, дети мои!

Когда все вошли, мой виноградарь,—он был очень храбр,—тихонько подошел поближе, заглянул через сломанную дверь и увидел зрелище необычайное. Все в часовне расположились кругом, на хорах, сидели на местах, словно там еще находились скамьи. Прекрасные дамы в парчевых туалетах и высоких прическах, мужчины, разодетые с головы до ног, крестьяне в разноцветных блузах, какие носили наши прадеды, все старые, помятые, запыленные, усталые. Время от времени ночные птицы, обычные обитатели часовни, разбуженные этим ярким освещением, начинали кружить около свечей, пламя которых не колыхалось. И особенно потешал Гарригу какой-то господин в больших стальных очках, который то и дело тряс своим большим черным париком,

а на нем  
пала кр

В п  
бенка, с  
звонил  
шенник  
дил пер  
было с  
дон Бал

В Пар  
подобра  
возят к  
их блес  
им что-  
чера он  
ров, на  
ным св  
шум э  
звонко

— И

Для  
рванны  
исторо

вып.



а на нем сидела одна из ночных птиц и тихо хлопала крыльями.

В глубине маленький старичок, ростом с ребенка, стоял на коленях посреди хора и отчаянно звонил колокольчиком без языка и звука. А священник в потускневшем золотом облачении ходил перед алтарем и произносил молитвы. Но не было слышно ни слова... Без сомнения, это был дон Балагер, начинавший свою третью мессу.

### АПЕЛЬСИНЫ.

(Фантазия).

В Париже у апельсинов—вид печальный, будто подобрали их с земли, под деревом. Когда их привозят к вам, среди дождливой, холодной зимы, их блестящая кожа, их сильный аромат придает им что-то странное, экзотическое. В туманные вечера они печально выстраиваются вдоль тротуаров, нагруженные на небольшие тележки под скудным светом красного бумажного фонаря. Сквозь шум экипажей и грохот omnibusов монотонно и звонко пробиваются выкрики.

— Из Валенсы! Два су!

Для трех четвертей парижан этот плод, сорванный далеко, пошлый своей круглостью, на истором дереве оставило лишь маленькую зе-

леную пуговку,—все равно, что конфета, варенье. Шелковистая бумага, в которую они обернуты, праздники, неизменным спутником которых они являются,—все способствует такому впечатлению. В особенности с наступлением января тысячи апельсинов, наводняющих улицы, валяющиеся всюду в грязи канав апельсиновые корки вызывают такое представление, будто гигантская рождественская елка распростерла над Парижем свои ветви, сгибающиеся под тяжестью искусственных плодов. Нет уголка, где бы они не попадались на глаза: за стеклами, освещенных магазинов—подобренные и нарядные; у ворот тюрем и больниц—среди пакетиков с сухарями и груд яблок; у входа на балы и на воскресные спектакли. И тонкий их аромат смешивается с запахом газа, с визгом скрипок, с пылью скамеек на райке. И почти забываешь, что для апельсинов нужны апельсиновые деревья, что в то время, как эти плоды целыми ящиками попадают к нам прямо с юга, дерево, подрезанное, преобразенное, из теплицы, где проводит зиму, появляется на самое короткое время на открытом воздухе в общественных садах.

☛ Чтобы хорошо узнать апельсины, надо их видеть на их родине, на Балеарских островах, в Сардинии, Корсике, в Алжире, в голубом золоте воздуха, в теплой атмосфере Средиземного моря. Припоминается мне маленькая апельсиновая роща



в гавани Блида. Вот, где они были прекрасны! В темной, блестящей, точно покрытой лаком листве, эти плоды блестили, как цветное стекло, и золотили кругом себя воздух, точно пышно распустившиеся цветы. В просветах между ветвями виднелись городские укрепления, минарет мечети, купол, еще выше—огромная масса Атласа \*), зеленого у основания и увенчанного снегом, точно белым мехом. Раз ночью, когда я там был, неожиданно пояс снега и инея обрушился на уснувший городок. И Блида проснулась преображенная, засыпанная снежной пудрой. В воздухе Алжира, таком легком и чистом, снег походил на перламутровую пыль. Он отливал, как перья белого павлина. Прекраснее всего была апельсиновая роща. На плотных листьях снег лежал ровным неподвижным слоем, как шерbet на лакированных тарелочках; а плоды, точно напудренные инеем были восхитительно нежны, застенчиво сияли, точно золото сквозь белую ткань. Это напоминало впечатления церковных торжеств, красных ряс под кружевными мантиями, позолоты алтаря, покрытого гипюром.

Но лучшее мое воспоминание об апельсинах связано с Барбизальей, большим садом около Аяччио \*\*), куда я укрывался в часы жары. Здесь апельсиновые деревья выше и гуще, чем в Бли-

\*) Горы в Африке.

\*\*) Горох на Корсике.

да, спускались до самой дороги, от которой сад отделялся лишь живою изгородью и рвом. Немного ниже уже начиналось море, безбрежное синее море... Какие чудные часы провел я в этом саду! Над моей головой апельсиновые деревья в цвету и в плодах струили свой теплый аромат. Время-от-времени спелый апельсин, вдруг оторвавшись, точно отягченный истомой, почти бесшумно падал возле меня на тучную землю. Мне стоило лишь протянуть руку. Это были бесподобные плоды, пурпурно-красные внутри. Они казались мне такими вкусными... А горизонт был такой синий! Сквозь листву море показывало свои голубые, сверкающие пятна, точно переливали красками куски разбитого стекла. Издали мерно шумела морская волна и точно покачивала невидимую лодку. Жара, запах апельсинов... О, как хорошо было дремать в саду Барбикальи! Однако, иногда, в лучшие мгновения отдыха, вдруг будил барабанный бой. Это несчастные барабанщики маршировали внизу, на дороге. Сквозь дырочки в изгороди я видел медь барабанов и огромные белые фартуки поверх красных панталон. Чтобы немного защититься от слепящего света и беспощадной жары дороги, они выстраивались у самого сада, в короткой тени изгороди. И как они барабанили, и как им было жарко! Тогда, вырванный из дремоты, я забавлялся тем, что бросал им эти чудные плоды червонного зо-



лота, висевшие у моей руки. Барабанищик, в которого попадал плод, останавливался. Минута недоумения, взгляд кругом, чтобы увидеть, откуда подкатился к его ногам чудный апельсин. Затем он стремительно его поднимал и вонзал в него зубы, даже не сняв кожи.

Вспоминается мне еще, что совсем рядом с Гирбикалей, отделенный от нее лишь низкой стеной, находился садик, довольно забавный. Я любовался им сверху, с возвышенности, на которой находился. Это был небольшой уголок земли, буржуазно распланированный. Его посыпанные светлым песком дорожки с очень зелеными кустами букса по краям, два кипариса у входа придавали ему вид загородного марсельского парка. Ни малейшей тени. В глубине—белое каменное здание со сводчатыми окнами у самой земли. Сначала я принял его за дачу; но, взглядевшись, увидел над ним крест и высеченную на камне надпись; и хотя содержание ее издали не мог разобрать, я понял, что это—корсиканский семейный склеп. Вокруг Аяччио много таких надгробных часовен, воздвигнутых среди разбитых специально для них садов. По воскресениям семья приходит сюда навестить своих покойников. В такой обстановке смерть не так мрачна, как на общих кладбищах. Лишь шаги друзей тревожат тишину. С своего места я видел старич-

ка, медленно ступавшего по дорожкам. Каждый день он подрезал деревья, копал землю, поливал, очень бережно снимал увядшие цветы. Потом, когда солнце заходило, он входил в маленькую часовню, где спали его покойники; он вносил туда лопату, грабли, большие лейки и делал все это спокойно, с безмятежностью садовника на кладбище. Этот милый старик, сам того не сознавая, работал с сосредоточенным видом, как можно бесшумнее, тихо-тихо притворял дверь склепа, словно боялся разбудить кого-нибудь. Лучезарной тишины этого сада не нарушала ни одна птица, и не было от его соседства грустно. Только море казалось от этого еще безбрежнее, небо—еще выше. И этот бесконечный отдых вливал в ликующую кругом природу, в бьющую через край жизнь чувство вечного покоя.

#### ДВЕ ГОСТИНИЦЫ.

Это было на обратном пути из Нима, в июльский полдень. Жара стояла нестерпимая. Насколько хватал взор, вилась в пыли белая, накаленная дорога среди садов, оливковых деревьев и молодого дубняка. Огромное матово-серебряное солнце заливало все небо. Ни пятнышка тени, ни малейшего ветерка. Только колебания горячего воздуха, да звенящее стрекотание кузнечиков,—



безумная, оглушающая музыка, точно звуки этого жаркого воздуха. Я шел уже два часа среди этой пустыни. Вдруг передо мной сквозь дорожную пыль вырисовалась группа белых домиков. Это была так называемая почтовая станция Сен-Венсен: пять или шесть построек, длинные риги год красными крышами, бассейн без воды в купе тощих смоковниц, и на другом конце деревушки — две большие гостиницы, одна против другой, по обеим сторонам дороги.

Было что-то поражающее в соседстве этих двух гостиниц. Одна — новое большое здание, полное жизни, движения. Все двери настежь; стоит длижанс, из которого выпрягли взмыленных лошадей; вышедшие из него пассажиры, укрывшись в тени здания торопливо пили что-то; весь двор был занят мулами, повозками, под навесом лежали возницы, ожидая прохладительного. Внутри — крики, перебранка, удары кулаком по столу, звон стаканов, стук бильярдных шаров, выстрелы сткупориваемых бутылок лимонада. И всю эту шумную музыку покрывал веселый громкий голос, от раскатов которого дрожали стекла:

Красотка Марготон —

Чуть свет уже проснулась,

Взяла кувшин серебряный

И по воду пошла...

В гостинице напротив — ни звука, точно все в

ней вымерло. Вход зарос травой, ставни сломаны, над дверью пучок порыжелого остролистника, повисший словно запыленный султан, каменные ступеньки избиты и заделаны щебнем. И все такое убогое, такое жалкое, что было добрым делом остановиться тут, чтобы чего-нибудь выпить.

\* \* \*

Я вошел. Длинный, пустынный и угрюмый зал. От яркого света, от трех огромных окон без занавесок зал казался еще пустынее, еще угрюмее. Несколько хромых столиков; на них в беспорядке стаканы, покрытые слоем пыли; бильярд с разорванным сукном, протягивавший, как за подающим, свои четыре лузы; желтый диван, старая конторка—все дремало в нездоровой тяжелой жаре. И мухи, мухи! Никогда не видал я такого множества: потолок, окна, посуда — все было облеплено ими... Целые их стаи. Когда я отворил дверь, они загудели, зашумели крыльшками, точно я вошел в улей.

В глубине зала, в амбразуре окна, лицом к стеклу, стояла женщина, которая что-то очень озабоченно рассматривала. Я окликнул ее дважды:

— Эй, хозяйка!

Она не спеша повернулась, и я увидел лицо бедной крестьянки, все в морщинах, с облупившейся кожей, землистого цвета; на голове кру-



жевной платок рыжеватого цвета, как у нас носят старухи. Однако, то была далеко не старая еще женщина, только от слез поблекло ее лицо.

— Что угодно?—спросила она, вытирая глаза.

— Посидеть немного, выпить чего-нибудь...

Она очень изумленно посмотрела на меня, не трогаясь с места, точно не понимала.

— Разве это не гостиница?

Женщина вздохнула.

— Как же... Гостиница, если угодно... А почему вы не зашли туда, напротив, как другие? Там куда веселее.

— Для меня там уж слишком весело... Мне хочется посидеть здесь...

И, не ожидая ее ответа, я сел к столику.

Когда хозяйка убедилась, что я говорю совершенно серьезно, она принялась ходить взад и вперед с очень озабоченным видом; открывала шкапы, передвигала бутылки, вытирала стаканы, сгоняла мух... Видно было, что гость здесь—целое событие. Иногда бедная женщина останавливалась, хваталась руками за голову, точно приходила в отчаяние. Потом ушла в соседнюю комнату. Я слышал, как звякали ключи, шелкали замки, как возились с хлебом, чистили что-то, с чего-то сдували пыль, мыли тарелку, а время-от-времени—тяжелый вздох, с трудом заглушаемое рыдание.

После четверти часа этих приготовлений передо мной появилась тарелка с изюмом, черствый хлеб и бутылка виноградных выжимок.

— Пожадуйте, — сказала бедная женщина и быстро пошла к своему месту у окна.

Я пил и попробовал вызвать ее на разговор.

— Не часто, у вас, видно, бывает народ? Правда?

— О, нет, господин. Никогда никого... Когда мы были здесь одни—другое дело: к нам заезжали; когда наступала тяга, у нас обедали охотники; круглый год ходили дилижансы... Но с тех пор, как устроились против нас соседи—все пропало... Предпочитают идти напротив... У нас, находят они, очень уныло... Правда, дом у нас неприятный. Сама я не красива, у меня лихорадка, обе мои девочки умерли... А там, напротив, целый день хохочут... Гостиницу держит арлезианка, красивая дама, вся в кружевах, на шее—тройная золотая цепочка. Кондуктор—ее возлюбленный и привозит к ней дилижанс. А кроме того, масса хорошеньких горничных... И потому всегда народ; у нее вся молодежь из Безука, Родессана, Жонкьер. Возницы делают крюк, только бы проехать здесь... А я сижу целые дни, и никого.

Она говорила это рассеянным, равнодушным



голосом, не отрывая лица от стекла. Очевидно, что-то в гостинице напротив занимало ее.

Вдруг на другой стороне дороги поднялся большой шум. Вздвывая клубы пыли, загромыхал дилижанс. Раздались удары бича, заиграла труба почтальона. К дверям высыпали девушки, которые кричали:

— Прощайте!.. До свидания!..

И все это покрывал громовый голос, певший все ту же песенку:

Взяла кувшин серебряный  
И по воду пошла,  
Там встретили ее  
Три стройных молодца..

...От звуков этого голоса хозяйка вся вздрогнула и, повернувшись ко мне, сказала совсем тихо:

— Слышите? Это мой муж... Правда, он хорошо поет...

Я с изумлением посмотрел на нее.

— Как, ваш муж!.. Значит, и он тоже уходит туда?

— Что же делать, сударь,—произнесла она печально, но очень кротко.—Все мужчины так-вы. Они не любят, когда плачут. А я всегда плачу, со смерти моих малюток... И потом, такой тоскливый этот сарай, в котором никогда ни души... Когда уж очень он соскучится, идет мой

бедный Жозе напротив выйти, а так как у него хороший голос, арлезианка заставляет его петь. Тсс... вот опять начинается...

И, вся дрожа, выставив вперед руки, с крупными слезами в глазах, которые делали ее лицо еще некрасивее, она, точно зачарованная, стояла у окна и слушала, как ее Жозе распевал арлезианке:

И первый ей сказал:  
«Привет тебе, красотка».

#### ТОСКА ПО КАЗАРМЕ.

Сегодня утром, едва заалела заря, отчаянный грохот барабана заставил меня вскочить с постели... Ран-план-план! Ран-план-план!..

Барабан среди моих сосен в этот час!.. Вот странно!

Я быстро спрыгнул с постели и побежал открыть дверь.

Никого! Шум стих... Из-под намокшей крыши выпорхнули два-три кулика, отряхивая крылья... Легкий ветер поет в деревьях. На востоке, на тонких гребнях отрогов Альп, золотится пыль, там, где тихо выплывает солнце... Первый луч уже позолотил крышу мельницы... В ту же минуту где-то в поле невидимый барабанщик снова на-



тинает свою дробь... Ран... план, план, план... план!..

Чорт поberi эту ослиную шкуру! Что же это, наконец, за дикарь, встречающий утреннюю зарю барабанным боем? Напрасно стараюсь я что-либо рассмотреть; я ничего не вижу. Одни только кусты лаванды, да сосны, которые сбегают вниз, до самой дороги... Быть может, там, в их чаще, спрятался какой-нибудь шутник и хочет посмеяться надо мной... Ну, конечно, это Ариель или Пук \*). Проходя мимо моей мельницы, он, должно быть, подумал:

«Парижанин что-то очень уж притих. Устрою ему серенаду».

Раздобыл большой барабан и пошел—«ран, план, план... ран, план, план...» Да замолчишь ли ты!.. Ведь ты разбудишь моих стрекоз.

\* \* \*

Но это был не Пук.

Это был Югэ Франсуа, по прозвищу Пистолэ, барабанщик 31-го полка, теперь—в отпуску. Пистолэ стосковался в деревне. У него тоска по полку. И когда ему удастся раздобыть в общине барабан, он меланхолично удаляется в лес и там барабанит в грезах о казарме принца Евгения.

---

\*) Сказочные существа, о которых рассказывается в комедиях Шекспира.

Сегодня он пришел пометать на своем зеленом холмике. Вон он стоит, прислонившись к одной из сосен и зажав барабан между колен. Сердце его ликует. Из-под его ног выпархивают вспугнутые куропатки, но он не замечает. Кругом него так благоухает смола, но он не чувствует.

Уж, конечно, не видит он тонкой паутины, которая дрожит между ветвями на солнце, не видит, как по его барабану прыгают иглы сосен. Всецело погруженный в свои грезы и в свою музыку, он с любовью смотрит, как сверкают его палочки, и при каждом ударе толстое, простое лицо расплывается в блаженную улыбку.

Ран, план, план!.. Ран, план, план!..

Как хороша огромная казарма с двором, выложенным широкими каменными плитами, с длинным рядом окон, с населением в форменных фуражках, с низкими сводами, под которыми не умолкает гул!..

Ран, план, план!.. Ран, план, план!..

О, гулкая лестница, оштукатуренные коридоры, запах спален, ложенные португез, доска из-под хлеба, банки с ваксой, железные койки с серыми одеялами, ружья в козлах с блестящими стволами.

Ран, план, план!.. Ран, план, план!..

О, чудные дни в кордегардии, истрепанные грязные карты, коварная дама ник, в уборе из



перьев, растрепанный томик Пиго-Лебрена, валяющийся на походной кровати!..

Ран, план, план!.. Ран, план, план!..

О, долгие ночи караула у дверей министерств, старая будка, куда протекает дождь, зябнущие ноги!.. Шикарные кареты, обладающие грязью!.. О, сверхурочная служба, дни, когда приходится быть дневальным, лохани с помоями, деревяшка в изголовьи, холодные зори в дождливые утра, печерная зоря, когда зажигают газ, перекличка, на которую прибегаешь запыхавшись!

Ран, план, план!.. Ран, план, план!..

О, венсенский лес, толстые белые бумажные перчатки, прогулки по укреплениям, решетка школы, веселые солдатские девицы, абсент в лавочке, объяснение, обнаженные тесаки, сентиментальный романс, который распеваешь, приложив руку к сердцу!..

Мечтай, мечтай, бедняга! Не я стану мешать тебе... Смело стучи по своему барабану, что есть силы. У меня нет права находить все это смешным.

Ты тоскуешь по своей казарме. А разве я не тоскую по своей?

Мой Париж преследует меня и здесь, как тебя—твоя казарма. Ты играешь на барабане под ооснами. А я—я пишу!.. Ах! ведь это одна игра!

Там, в казармах Парижа, мы тоскуем по голубым отрогам Альп, по острому запаху лаванды. А теперь тут, среди роскоши Прованса, нам не хватает казармы и дорого нам все, что напоминает ее...

\* \* \*

В деревне пробило восемь часов. Пистолэ, не выпуская своих палочек, отправился в обратный путь... Слышно, как он спускается вниз между деревьями и все еще барабанит. А я, улегшись в траве, томясь тоскою, точно вижу, как под дробь удаляющегося барабана проходит передо мною среди сосен весь мой Париж!..

О, Париж!.. Париж!.. Всегда Париж!

*Перевод с французского*

*Н. Эфроса.*





## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Предисловие Анс. Чеботаревской . . . . .      | 5— 10    |
| От автора . . . . .                           | 11— 12   |
| Водворение . . . . .                          | 13— 17   |
| Бокэровский дилижанс . . . . .                | 17— 23   |
| Секрет хозяина*Корнилья . . . . .             | 23— 31   |
| Коза г. Сегэна . . . . .                      | 31— 40   |
| Звезды . . . . .                              | 40— 49   |
| Арлезианка . . . . .                          | 49— 55   |
| Мул папы . . . . .                            | 55— 70   |
| Маяк в Сангвинере . . . . .                   | 70— 79   |
| Агония „Семильянты“ . . . . .                 | 79— 89   |
| Таможенные надсмотрщики . . . . .             | 89— 95   |
| Священник из Кюкюньяна . . . . .              | 95— 104  |
| Старики . . . . .                             | 105— 115 |
| Баллады в прозе                               |          |
| I. Смерть дофина . . . . .                    | 116— 120 |
| II. Супрефект в поле . . . . .                | 120— 125 |
| Портфель Бикспу . . . . .                     | 125— 133 |
| Легенда о человеке с золотым мозгом . . . . . | 133— 139 |
| Поэт Мистраль . . . . .                       | 139— 149 |
| Три недослуженные обеды . . . . .             | 150— 161 |
| Апельсины . . . . .                           | 161— 166 |
| Две гостиницы . . . . .                       | 166— 172 |
| Тоска по казарме . . . . .                    | 172— 176 |

Перевод Н. Ефроса.



Состоящее при Народном Комиссариате по Просвещению издательство „*Всемирная Литература*“ ставит своей задачей дать в переводе на русский язык все наиболее выдающиеся произведения мировой художественной литературы, начиная с конца XVIII века и до наших дней.

С этой целью издательство „*Всемирная Литература*“ выпускает в свет две серии книг: основную и народную библиотеку.

Основная библиотека заключает в себе собрание сочинений европейских, американских и колониальных писателей, избранных с таким расчетом, чтобы книги этой серии по окончании издания составили систематически подобранную библиотеку, могущую служить не только материалом для чтения, но также пособием к изучению истории мировой литературы во всем разнообразии ее национальных оттенков, литературных школ, течений и художественных форм изложения.

Составляя неразрывные части единого целого, книги основной библиотеки бу-



дут по техническим условиям выходить вне порядка, указанного в каталоге, а в зависимости от времени их напечатания.

- Общее количество книг основной библиотеки—около 1500 томов. Средний размер тома—около 20 печатных листов (320 стр.).

Народная библиотека состоит из небольших по объему книг, доступных пониманию и восприятию самых широких масс русской демократии.

Пользуясь художественной литературой, как могучим средством культурного воздействия и международного единения, народная библиотека имеет целью познакомить читателя с наиболее интересными особенностями исторических судеб, культуры, быта и психики европейских наций, а главное—с теми сокровищами веками накопленных знаний и культурных навыков, которые, являясь достоянием всего человечества, служат надежным залогом братства всех людей—залогом грядущего Интернационала.

Количество книг народной библиотеки—около 2500 томов. Размер отдельного тома—около 4 печ. листов (64 стр.).

Книги обеих библиотек снабжены необходимыми пояснениями и вступительными

статьями как историко-литературного, так и общеобразовательного содержания.

В первую очередь выйдут в свет переводы с французского, английского, немецкого, итальянского, испанского, португальского, шведского, норвежского, датского и голландского языков. Вторую очередь составляет литература западных славян, мадьяр, а также отдельная обширная серия литератур и словесности Востока.

Заведующие Издательством: *М. Горький, Э. М. Гржебин, И. Л. Ладыжников, А. А. Тихонов.*

Редакционная Коллегия экспертов:

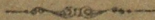
*Ф. Д. Батюшков, А. А. Блок, Ф. А. Браун, А. Л. Волинский, М. Горький, А. С. Гумилев, Е. М. Замятин, А. Я. Левицкий, Т. Л. Лозинский, Б. П. Сильверсман, А. А. Тихонов, К. Чуковский.*

В редакционной работе принимают участие:

*Е. А. Агамов, В. А. Азов, Ю. М. Айхенвальд, А. В. Амфитеатров, А. М. Анчикова, Ю. К. Балтрушайтис, К. Д. Бальмонт, А. А. Бекун, Е. М. Браудо, В. А. Брим, А. А. Брок, В. Я. Брюсов, Э. А. Вексера.*



А. В. Танзен, М. О. Тершензон, А. А. Изетти, Э. А. Туппиус, Л. П. Тнедич, М. М. Тревс, Р. Т. Григорьев, Б. А. Трифцов, П. К. Тубер, А. Ф. Дамакская, Ю. А. Данзас, О. А. Добиаш, М. А. Жирмунский, Б. Я. Жуховецкий, С. М. Зарудный, Ф. Ф. Зелинский, Вяч. Иванков, В. П. Измалкова, Вл. Каренин, Л. П. Каргавин, Л. С. Коган, А. Ф. Кони, М. А. Кузмин, А. И. Куприн, М. Е. Левберг, А. О. Лернер, Е. П. Леткова, М. Л. Лозинский, А. В. Лукачарский, Е. I. Лундберг, М. И. Манухина, П. П. Муратов, С. Ф. Ольденбург, П. П. Перцов, С. А. Поляков, А. И. Потапенко, С. Э. Раглов, Э. Л. Раглов, А. М. Ремизов, А. А. Римский-Корсаков, А. А. Серебров, Ф. Сологуб, В. В. Струве, Я. Туггидхольд, Т. П. Седотов, А. Холодковский, В. Ф. Ходасевич, М. Цветаева, А. А. Чеботаревская, В. А. Чудовский, А. Л. Шанин, В. К. Шилейко, С. И. Штейн, С. В. Штейн, С. Я. Штрайх, Б. М. Эйхенбаум и др.



ВЫШЛИ В СВЕТ И ПРОДАЮТСЯ.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <i>Г. де-Мопассан</i> | — Милый друг.        |
| <i>„</i>              | — Сильна как смерть. |
| <i>А. Франс</i>       | — Остров Пингвинов.  |
| <i>Лили Браун</i>     | — Письма Маркизы.    |
| <i>Гонкур</i>         | — Братья Земганно.   |

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

№№

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. <i>О. Мирбо</i>              | — Деревенские рассказы.  |
| 2. <i>Мультатули</i>            | — Рассказы.              |
| 3. <i>Марк Твен</i>             | — Приключения Тома.      |
| 4. <i>Г. Д'Аннуцио</i>          | — Пескарские рассказы.   |
| 5. <i>А. Шамиссо</i>            | — Петер Шлемиль.         |
| 6. <i>А. Франс</i>              | — Делоуличного торговца. |
| 7. <i>Г. аз Гейерстам</i>       | — Любовь и др. рассказы. |
| 8. <i>Баллады о Робин Гуде.</i> |                          |
| 9. <i>Г. Деледда</i>            | — Сардинские рассказы.   |
| 10. <i>О. Уайльд</i>            | — Сказки.                |
| 11. <i>„</i>                    | — Гранатовый дом.        |
| 12. <i>„</i>                    | — Рассказы.              |
| 13. <i>Д. Лондон</i>            | — Сын волка.             |
| 14. <i>Г. Уэллс</i>             | — Сияющий пробуждается.  |
| 15. <i>Вальтер Скотт</i>        | — Черный карлик.         |
| 16. <i>Вольтер</i>              | — Кандид.                |
| 17. <i>Вольтер</i>              | — Повести.               |
| 18. <i>Беранже</i>              | — Песни.                 |
| 19. <i>С. Т. Кольридж</i>       | — Поэма о старом моряке. |
| 20. <i>Г. Р. Хатпард</i>        | — Коши царя Соломона.    |



- |                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 21. Шиллер     | — Разбойники.             |
| 22. Д. Лондон  | — Закон белого человека.  |
| 23. Вольтер    | — Белый бык.              |
| 24. Б. Ибаньес | — Валенсианские расск.    |
| 25. И. Иенсен  | — Гиммерландские расск.   |
| 26. А. Франс   | — Чудо св. Николая.       |
| 27. В. Гюю     | — Посл. день осужденного. |
| 28. К. Мейер   | — Святой.                 |
| 29. А. Додэ    | — Письма с мельницы.      |

## ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ.

### ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- |               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| А. Лесаж      | — Хромой бес. Тюркаре.                       |
| „             | — Жиль Блаз.                                 |
| Б. Ибаньес    | — Власть мертвых.                            |
| „             | — Проклятый хутор.                           |
| А. Франс      | — Восстание ангелов.                         |
| Г. Флобер     | — Саламбо.                                   |
| „             | — Воспитание чувства.                        |
| Ч. Диккенс    | — Повесть о двух городах.                    |
| „             | — Наш общий друг.                            |
| „             | — Большие ожидания.                          |
| „             | — Жизнь и приключения<br>Николая Никльби.    |
| „             | — Жизнь и приключения<br>Мартина Чеззльвита. |
| Ч. Диккенс    | — Домби и Сын.                               |
| Вальтер Скотт | — Уэверли.                                   |
| „             | — Роб Рой.                                   |

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <i>Г. Уэллс</i>     | — Машина времени.         |
| —                   | — Невидимка.              |
| —                   | — Борьба миров.           |
| <i>Вольтер</i>      | — Задиг.                  |
| —                   | — Принцесса Вавилонская.  |
| <i>Марк Твен</i>    | — Принц и нищий.          |
| <i>А. Франс</i>     | — Сказка о сорочке.       |
| <i>М. Сьерра</i>    | — Благословенная весна.   |
| <i>А. Нордстрем</i> | — Обыватели.              |
| <i>Дж. М. Барри</i> | — Белая птичка.           |
| <i>Ю. Юргенсон</i>  | — Африканские рассказы.   |
| <i>О. Гольдсмит</i> | — Векфильдский священник. |
| <i>Г. Федерер</i>   | — Прометей и др. рассказ. |
| <i>Г. Бани</i>      | — Четыре дьявола.         |







ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“  
ПЕТЕРБУРГ  
Моховая №36.

---



ЦЕНА 16 РУБ.